

Денис Драгунский

# ДЕЛО ПРИНЦИПА

НЕСКОЛЬКО СЕКУНД  
ИЗ ЖИЗНИ ЗЛОЙ ДЕВОЧКИ

25 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ  
ГОРГОДИЕШ

Денис Драгунский  
**Дело принципа**

Издательский дом «Городец»

2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Драгунский Д. В.**

Дело принцепа / Д. В. Драгунский — Издательский дом  
«Городец», 2022

ISBN 978-5-907483-60-6

«Дело принцепа» – это и буквально Гаврило Принцип, застреливший эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену Софью, и принцип, исповедуемый главной героиней романа Адальбертой-Станиславой Тальницки унд фон Мерзбург, «злой девочкой» нового времени. Эпоха европейского суицида развернута в пространстве уютных «спаленок» рафинированного цивилизованного мира, под который уже заложена бомба.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907483-60-6

© Драгунский Д. В., 2022  
© Издательский дом «Городец», 2022

# Содержание

I	6
II	13
III	23
IV	32
V	41
VI	50
VII	58
VIII	68
IX	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Денис Драгунский Дело принципа

© Д. Драгунский, 2022

© ИД «Городец», 2022

## I

На кончик сосульки набежала капля. Набухла, сорвалась и полетела вниз.

Таять начинало в конце февраля.

Я становилась коленками на диван и смотрела в окно.

Окно выходило на улицу Гумбольдта. Напротив и чуть наискосок, правее, ближе к реке, был угловой дом, новомодный и тяжелый, темно-серый, с колоннами в виде плоских печальных женщин. На доме висела бронзовая памятная доска: «На этом месте был старинный постоянный двор, *der alte Gasthof*, где в 1805–1818 годах останавливался великий ученый и дипломат Вильгельм фон Гумбольдт» – и сверху профиль господина с кудряшками, в овале, оплетенном лавровыми ветвями – тоже бронзовыми, как вы уже поняли. В первом этаже там была кофейня «Трианон».

А прямо напротив нас, окна в окна, была гостиница, которой владела семья Альдемаре-ски. Она так и называлась – «Отель Альдемарески». Очень древняя итальянская фамилия, это папа сказал. Но совсем не знаменитая, объяснил папа. Сошли со сцены еще в пятнадцатом веке.

Фамилия Альдобрандески или тем более Альдобрандини – гораздо лучше. Но где взять такую? Папа сказал: «Вырастешь, поедешь в Италию, выйдешь в тамошний свет, и чем черт не шутит, а?»

Хотя ладно, чего уж теперь.

В конце февраля слоистый жгут слежавшегося снега, который нависал над окном нашей гостиной, вдруг покрывался тончайшей ледяной корочкой. Корочка толстела, пузырилась, прогибалась книзу и превращалась сначала в короткую, а потом в длинную прозрачную сосульку. Короткие полчаса, когда солнце на нее светило, она сверкала, как хрустальная подвеска на люстре.

Я становилась коленками на диван и смотрела на сосульку. Следила за ней.

Дня через три на кончик этой сосульки набежала первая капля.

Это окно – именно вот это окно нашей гостиной, широкое, четырехстворчатое, с полукруглым верхом – было, можно сказать, главным окном всего фасада. Над ним был широкий лепной карниз. Поэтому снег там задерживался, пока не стаивал совсем. На других окнах были крыши домиком, сверху покрытые цинком, и снег оттуда скатывался сам. А тут получался целый маленький сугроб – и как его убрать? Не посылать же дворника в квартиру этажом выше, чтоб он раскрывал окно и, перегнувшись через подоконник – с которого сначала надо было бы снять цветы или статуэтки, – метелкой и лопаткой счищал снег? Это крайне невежливо, обращаться к соседям с такой просьбой. Тем более что наверху жил какой-то важный государственный чиновник, мне папа говорил. Но и вообще немыслимо! Я бы, например, ни за что не пустила соседского слугу, чтоб он из нашего окна чистил снег на своем карнизе.

Карниз украшал пышный рельеф, целая скульптурная группа. Сатир и нимфа, которые сплели руки, то ли отнимая друг у друга виноградную гроздь, то ли, наоборот, угощая. Сатир угощал нимфу и широко улыбался своим некрасивым театральным ртом. Почему театральным? Потому что его лицо было похоже на греческую театральную маску из книги Буркхарта и Телленберга «Античная мифология». А нимфа стыдливо закатывала глаза.

Оба были голые. Но у сатира был большой фиговый лист. А нимфа сверкала выпуклым треугольником лобка. У нее был толстый животик и круглые ляжки, и лобок как-то особенно топырился – наверное, из-за того, что эти фигуры два раза в год белили чем-то густым, замешанным на меду, наверное. Но старые слои не соскабливали, и от этого нимфа становилась все крутобедрее и грудастее, а сатир – все носатее и мускулистее; а если честно – оба становились все жирнее.

Я брала дедушкин бинокль и выходила на улицу. В бинокль я рассматривала всю эту лепнину. Мне хотелось разглядеть, что там у сатира под фиговым листком. Мне было интересно, как работал скульптор. Сначала вылепил ему пипиську, а потом сверху приделал лист? Или, подлый бездельник, сразу сделал этот разлапистый листок, лишив сатира его мужественности – ибо одной развязной улыбкой нимфу не покоришь.

Сколько мне было лет, когда я первый раз нацелилась биноклем на сатировы скрытые красоты? Десять? Одиннадцать? Двенадцать? Нет, двенадцати еще не было, кажется. Но я была деревенской барышней. Мне были отлично известны все эти вещи, от которых городские барышни краснеют, заикаются, падают в обморок, а иногда их даже вырвать может – честное слово, одну мою здешнюю подружку натурально стошнило, прямо на платье и на ковер, когда я рассказала ей про некоторые жизненные подробности, которые ей непременно предстоят.

Да. Мне было уже одиннадцать лет, была осень, я стояла на тротуаре, разглядывая в бинокль карнизы и колонны нашего дома.

Вдруг кто-то спросил:

– А что это там барышня высматривает?

Я отняла бинокль от глаз и повернулась. Сзади стоял высокий старик в шляпе и тонком темно-сером пальто. Он, наверное, подумал, что я подсматриваю в чужие окна.

– Это наш дом, – сказала я. – Вернее, съемный. Мы снимаем квартиру во втором этаже. Сначала хотели в бельэтаже, но тут бельэтаж низковат, вы же видите. Сами подумайте, какой интерес выглядывать в окно и видеть крыши карет и шляпы кучеров! Так сказал папа, и я с ним полностью согласна. Да, бельэтаж оказался низковат, к сожалению. Но дом хорош. Слава богу, точно такой же апартамент сдавался этажом выше. Вот там мы и живем.

Старик похвалил наш выбор и окольным манером поинтересовался, богат ли мой отец и вообще кто мы такие. То есть сказал, что мы наверняка знатны и богаты, и посмотрел на меня искоса.

– Не особенно, – сказала я. – Мы не герцоги, не графы, не банкиры и не магнаты. Но тем не менее в деньгах не нуждаемся и ни перед кем не шаркаем шляпой по мостовой, фигурально выражаясь. Не торчим ни в чьих передних. Мой папа – землевладелец и дворянин. Дедушка тоже. И так далее. – Я опустила бинокль, он повис на ремешке у меня на шее. – Наш род берет начало... Фу, да какая разница, от кого он берет начало? Мы вообще-то живем в деревне. Двести десять верст к северо-востоку, – и я махнула рукой в сторону, чуть левее. – Меня зовут Адальберта-Станислава Тальницки унд фон Мерзебург. К сожалению, у меня нет с собой визитки.

– Очень приятно! – сказал старик. – А у меня как раз есть визитка...

Он расстегнул пальто и достал бумажник из внутреннего кармана.

– Не трудитесь, – сказала я. – Зачем мне знать ваше имя?

– Но вы же назвали свое, – возразил он.

– Вы все равно его забудете! – засмеялась я.

Старик подмигнул и сказал, что воры часто смотрят в бинокль на окна.

Я даже ногой топнула.

– Мой папа – дворянин и богатый человек, повторяю! Вы решили, что я воровка?

– О, нет! – Старик прижал руку к сердцу. – Ничуть, милая барышня. Миллион извинений!

Но отвязаться от воров с биноклями он не мог.

– Особенно часто это бывает по вечерам, – говорил он. – Воры с биноклями выходят на охоту, когда в домах зажигаются люстры и лампы. Воры высматривают, что висит на стенах. У нас в Штефанбурге, – говорил старик, – очень много богатых домов, но вот что самое интересное! Самое интересное и даже невероятное – что даже в небогатых квартирах, в скромных

квартирах совсем обыкновенных, заурядных людей на стенах висят замечательные картины, драгоценные картины...

– Отчего так? – удивилась я.

– Если барышня соблаговолит пойти со мною выпить кофе со сливками и съесть пирожное в ближайшей кофейне – вот она, вот, на углу, видите, кофейня «Трианон», – то я расскажу барышне, откуда у простых обывателей Штефанбурга на стенах вдруг попадаются истинные шедевры великих мастеров прошлого. О, вы еще не знаете, что за город Штефанбург, сколько здесь тайн хоронится в каждом доме... Да и в каждом сердце! Пойдемте, выпьем кофе.

– Ну да! А потом барышню найдут в парке, в сухом пруду, забросанную листвою и ветками, зверски убитую и объединенную бродячими кошками? Да? – закричала я, отступив на два шага и доставая из кармана своего бархатного пальто бронзовый разрезальный нож для книг с перламутровой ручкой и узорами на лезвии (если только можно назвать лезвием эту тупую округлую пластину). – Прочь, престарелый маниак! Или я кликну дворника! Дворника мы привезли с собою, он каминную кочергу завязывает узлом. Игнатий! Игнатий! – но я звала нарочно негромко, и старик это понял.

Он расплылся в лъстивой и отчасти сладострастной улыбке:

– О, я вижу настоящую степную помещицу! Настоящую сельскую госпожу! Барышня, не надо ходить со мной в кафе, вы можете постоять здесь, а я велю принести столик прямо сюда. Столик, два стула, два пледа и две жаровни, угодно ли? И, конечно, кофе.

– Угодно, – сказала я. – И пирожное. Эклер с коричневым кремом и клубничным соусом. Кофе без сливок. Некрепкий. Поздний час, господин... Как вас?

– Вы же сами отказались узнать мое имя!

Я пожала плечами. Он рассмеялся и замахал рукой.

Швейцар, стоявший у дверей кофейни «Трианон», заметил его, кивнул, повернулся, отворил дверь и махнул рукой кому-то внутри. Через полминуты на пороге появился официант. Старик что-то показал ему движениями ладоней и пальцев – было похоже на жесты, которыми разговаривают глухонемые.

Еще через полминуты на тротуаре уже стоял маленький круглый столик, два легких стула с подлокотниками – два полукресла, собственно говоря, одно против другого – и две жаровни, тоже одна против другой, так что по обе стороны каждого кресла, получилось, стояли бронзовые треножки с медными тарелками, прикрытыми дырчатými полушариями, источавшими жар и легчайший дымок яблоневого угля.

– Весьма кстати, – сказала я, усаживаясь в кресло и подставляя плечи пледу, который на меня накидывал официант. – Холодает.

– Значит, вы приезжаете в Штефанбург на зимние месяцы?

– На оперный сезон, – сказала я.

– О! – сказал он. – Абонируете ложу?

– Именно. А вы бываете в опере?

– Нет, дорогая барышня... простите, я запомнил ваше имя, Альбертина...

– Я же сказала – забудете! Вот и забыли! Вот и отлично! Отчего же вы не ходите в оперу? Вам скучно, у вас нет своей компании, своего круга? Или, – я перешла на шепот, – дороговато?

– И то, и другое, и, главное, третье, – сказал старик. – Я не очень люблю музыку. Вернее, люблю, но так, разные шансонетки. Или марши. Бум-брум-ла-дада-дум! Но в опере мне высидеть трудно. Я ходил в оперу, когда был... когда жил и служил в Вене. А здесь, честно скажу, ни разу не был. Хотя здешнюю оперу очень хвалят. Но вот как-то пока не вышло. Но, быть может, я все же соберусь.

Специально, чтоб еще раз увидеть вас, чудесная барышня, не желающая повторить свое имя...

– Не стоит, глубокоуважаемый забывчивый господин, – сказала я.

Меж тем принесли кофе и пирожные.

– Отчего же нет? – улыбнулся он. – Было бы мило раскланяться в фойе. А что бы вы рекомендовали посмотреть? Что вы сами недавно смотрели?

– *Послушать, послушать!* – сказала я строго. – Оперу не смотрят, а слушают. В отличие от балета. Вот недавно мы слушали оперу «Nathalie Pouchkine», какого-то новейшего итальянского композитора. Точно не помню. То ли Умберто Джордано, то ли Джакомо Пуччини. Поразительный сюжет и чудесные голоса. Историческая опера из русской жизни, не хуже джордановской «Федоры», нет, правда! Вы знаете, кто такая Натали?

Старик помотал головой, пристально на меня глядя.

– Это жена великого русского поэта Александра Пушкина. Слыхали? Нет? О боже! Впрочем, все может быть. Я равнодушна к России, потому что наполовину славянка. Но не полька. Поляки-то как раз ненавидят русских. Вы ведь тоже славянин?

– Нет. Немец.

– Ach, unglaublich! Sie sind so fließend in unserer Sprache! <sup>1</sup>

– Благодарю, – сказал он. – Вернемся к опере?

Честно говоря, я совсем не понимала музыки. Но в оперу ходить просто обожала. Ложа. Конфеты. Апельсины. Прогулки по фойе. Все раскланиваются друг с другом. Папа шепчет: «Граф такой-то; генерал такой-то; знаменитый поэт такой-то». Кое-кто подходит к нам. Кое к кому – мы. Знакомимся. Пожилая дама треплет меня по щечке. Юный поручик склоняет голову с бритвенной тонкости подбором, жмет мне руку. Восхитительный буфет с мороженым в мельхиоровых вазочках. И замечательные сюжеты!

Я внимательно читала либретто в узких светло-бежевых книжечках и всегда следила за действием. Поэтому певцы меня часто раздражали.

– Ах, какая опера, – рассказывала я. – Как жаль, что я не могу напеть вам несколько мелодий, я совсем не музыкальна, увы... Но я расскажу вам сюжет. Для начала – действующие лица. Русский царь Николай. Граф Бенкендорф, правая рука царя. Барон Геккерт, посланник нидерландского двора в России. Жорж Дантес, его приемный сын, офицер на русской службе. Натали, жена знаменитого поэта Пушкина. Катерина, ее сестра. Ну и, конечно, придворные дамы, камергеры, офицеры и все такое.

– А где же сам поэт Пушкин? – спросил старик.

– А вот самого Пушкина там нет, – сказала я. – Ведь опера не про него, а про его жену! И так. Занавес открывается. Красивейшая декорация – зеленые стены и белые узоры, узкие окна и огромные люстры. Бал в царском дворце. Выходит граф Бенкендорф и сообщает о прибытии царя. Хор придворных поет русский гимн «Боже, царя храни» (тут я немножко все-таки напела). Входит царь. Поднятием руки он приветствует собравшихся и начинает польку, идя в паре с красавицей Натали.

И тут входят посланник Геккерт и поручик Дантес. Баритон и тенор. Они поют про жизнь в бескрайней морозной стране. То есть у них такой дуэт. Поют про жестокость русского царя и про придворных дам, что они все – пожилые нарумяненные кокетки. И вот к ним подходит граф Бенкендорф, слушает их. И поет свою арию. Сначала так: «Умолкните, клеветники России!» Музыка очень громкая и страшная, а он поет еще громче, почти как Мефистофель: «*Le veau d'or est toujours debout!*» <sup>2</sup> – ну, помните? Роскошный баритон, настоящий русский голос. Певец, кстати, русский. Забыла фамилию. Но очень, очень знаменитый! Пауза, аплодисменты. Но потом, как будто бы прочитав строгую нотацию двум наглым иностранцам, он смягчается, улыбается и обращается к поручику Дантесу: «*О, ты еще полюбишь наш дивный холодный*

---

<sup>1</sup> Ах, невероятно! Вы так свободно говорите на нашем языке! (нем.)

<sup>2</sup> Первая строка «Куплетов Мефистофеля» из оперы Гуно «Фауст». «Златой телец стоит» (фр.). Русский перевод: «На земле весь род людской чтит один кумир священный...»

*край, где девы цветут, как розы на снегу!»* Барон Геккерн просит Бенкендорфа представить царю Дантеса.

Старик смотрел на меня, не отрывая глаз, время от времени отковыривая ложкой кусочки пирожного и запивая маленькими глотками кофе.

У него были крепкие белые зубы.

А я продолжала:

– Рядом с царем стоит красавица Натали. Дантес поражен ее красотой. Дантеса представляют и ей. Улучив момент, он спрашивает ее – кто она? Натали – великолепное итальянское сопрано! – отвечает: *«Мой муж – лучший русский поэт, его любит царь, ему рукоплещет народ, но жить с ним – скука смертная: он или пишет стихи, закрывшись в кабинете, или веселится с приятелями-поэтами. Я для него лишь красивая игрушка»*. – *«Ах, если бы позволили вы мне развеять вашу скуку, Натали!»* – дерзко предлагает Дантес. *«У вас не получится!»* – *«Ах, отчего же?»* – спрашивает Дантес. *«Я мать троих детей, я добрая жена, я мужу отдана, навек ему верна!»* – *«Но дайте же мне шанс!»* – *«Шансы не просят, их берут...»* – отвечает Натали. И вот тут занавес.

– Хорошо сказано, – усмехнулся старик. – Верно. Насчет шансов так оно и есть.

– Действие второе, – продолжала я. – Картина первая. Площадь перед домом барона Геккерна. Вдали виднеется царский дворец. Падает снег.

*«Что ты наделал?»* – спрашивает Геккерн у Дантеса. – *«Царский любимец Пушкин вызвал тебя на дуэль!»* Дантес отвечает, что влюблен в Натали и чувствует взаимность. Но Геккерн обеспокоен: *«Здесь азиатские нравы. Это кончится плохо»*.

На сцену въезжает настоящая карета! С конями! Из нее выходит граф Бенкендорф. Он говорит, что у Дантеса есть единственный выход – сделать предложение Катерине Гончаровой, сестре Натали: тогда Пушкин откажется от своего вызова. Дантес говорит, что Катерине уже двадцать шесть и она ему не нравится. *«Тебе все равно конец, – отвечает Бенкендорф. – Пушкин отличный стрелок, но если он, паче чаяния, промахнется – тебя казнят за дуэль»*. Дантес соглашается на женитьбу. Бенкендорф говорит, что будет шафером на его свадьбе, обещает ему блестящую карьеру в России.

Картина вторая. В доме Пушкиных. Натали и Катерина вышивают, сидя у окна. В окне видны красивые дома и набережная узкого канала. Говорят, в Петербурге полно маленьких рек и каналов. Вы были в Петербурге? Я – нет. Мой папа, кажется, был. Он вообще много где был, даже в Америке! Представляете себе? В общем, входит Дантес, обнимает Катерину, кланяется Натали, спрашивает, как себя чувствует великий Пушкин и чем это пахнет на весь дом. *«Великий Пушкин попросил яблочного варенья!»* – поет Катерина. У нее меццо-сопрано. – *«Я варю его лучше, чем сестра. Ведь я же старше!»* – смеется она и уходит.

*«Зачем ты это сделал, Жорж?»* – со слезами спрашивает Натали. *«Чтоб быть с тобою рядом!»* – *«Лжешь, ты просто спасал свою жизнь!»* Он падает перед ней на колени, она склоняется к нему, они целуются. Цокот копыт за окном. Дантес распахивает окно. *«О, хоть один час мы будем счастливы!»* – и они выскакивают наружу. Входит Катерина с блюдечком варенья. Видит, что никого нет. *«О, я так и знала! О, глупая старая дева! О, подлец! О, негодяйка!»* Замечательная ария! *«О, негодяйка! О, подлец!»* Конец второго действия! Вы себе не можете представить, публика едва вытерпела антракт! И вот действие третье. Вам правда интересно? Первая картина – в доме барона Геккерна. Он вслух читает Дантесу оскорбительное письмо Пушкина и говорит, что дуэль неизбежна: он уже написал Пушкину вызов от имени Дантеса. *«Я не хочу стреляться!»* – трепещет Дантес. – *«Паду ли я, пронзенный пулей, иль Пушкина сразит она – меня все равно разжалуют и повесят!»* Входит Катерина и поет: *«Ты в России, мой милый неверный друг. Здесь за любовь платят жизнью»*. Появляются секунданты и уводят за собой Дантеса. Занавес. Картина вторая уже в Зимнем дворце.

Декорация такая же, как в первом действии...

– Стася! – раздалось у меня прямо над головой. – Стася, что происходит?

Это пришла моя гувернантка, госпожа Антонеску.

– Мы тут пьем кофе, вы же видите, – вежливо сказала я.

– Стася, пора домой. – Госпожа Антонеску взяла меня за руку.

– Дайте же дорассказать! – Я выдернула руку и повернулась к старику, который внимательно разглядывал меня, госпожу Антонеску и громадного мужика в длинном сюртуке с серебряными пуговицами, который стоял за ее спиной – она на всякий случай позвала дворника Игнатия.

– Вот. Вот. Вот, – я продолжала сочинять на ходу. – Дворец. Царь Николай сообщает придворным, что великий поэт Пушкин скончался от раны, полученной на дуэли. Оркестр играет траурный марш. Хор придворных поет: *«Но пусть у гробового входа младая будет жизнь играть!»* Траурный марш переходит в мазурку. Все танцуют. Вдруг входит граф Бенкендорф с пакетом. Царь останавливает мазурку, велит Бенкендорфу распечатать пакет и прочесть. Тот читает – в смысле, поет своим прекрасным баритоном, – что военный суд приговорил поручика Дантеса к смертной казни. Царю подносят золотую чернильницу. Он берет перо, чтоб утвердить приговор. Но тут к его ногам бросаются Катерина и Натали, умоляя о помиловании. *«Вы просите за своего мужа, и это понятно, – говорит царь Катерине и обращается к Натали: – Но вы, мадам, отчего просите за убийцу вашего мужа?»* – *«Мой муж, великий поэт Пушкин, всегда призывал милость к падшим»*, – отвечает она. На последних нотах ее арии царь макает перо в чернильницу и с размаху перечеркивает приговор, который держит перед ним граф. Сминает бумагу и бросает ее прочь. Вот так! – Я схватила салфетку, смяла ее и бросила прямо в старика. – Вот это финал!

– О, да! – сказал старик, поймав салфетку и отерев ею губы.

– Она у нас ужасная болтушка и фантазерка, – улыбнулась госпожа Антонеску, взяв меня за руку. – Сколько мы вам должны за кофе и пирожное?

– Что вы, что вы, что вы! – Старик вскочил со стула, едва не опрокинув жаровню, стал прижимать ладонь к сердцу и даже попытался поцеловать ручку госпоже Антонеску, но она не далась. – Что вы, что вы, что вы... Она очаровательна!

– Тогда благодарим вас, – сказала госпожа Антонеску.

– Благодарю и всего доброго, – сказала я, и мы с госпожой Антонеску, заслоняемые дворником Игнатием, пошли к парадному подъезду.

Благо ходу было всего шагов тридцать.

Этот разговор был осенью. Впереди – опера, прогулки, уроки, гости, елка, снег, коньки, салазки с горки в парке, но в конце февраля начинало таять.

Я следила за сосулькой над окном.

Появлялась первая капля. Я ждала, когда она набухнет и сорвется, упадет на покрытый радужным цинком отлив. Окно было плотно закрыто, но мне казалось, что я слышу этот нежный глухо-звонкий удар. Я ждала еще несколько секунд, пока на кончике сосульки не набухла новая капля, чтоб убедиться, что капель началась, – и бежала сказать об этом папе.

Потому что это означало – пора возвращаться домой, в имение. Это еще дедушка придумал – уезжаем с первой каплей. Как всегда, мы долго рассуждали, когда выезжать – вот сразу сейчас, пока еще дороги приморожены, или подождать пару недель, когда уже все подсохнет. Но все равно выезжали в самую слякоть.

Сборы были быстрые и почти бесхлопотные. Госпожа Антонеску объяснила почему. Потому что надо всего лишь запаковать то, что мы привезли. Почти как в гостинице, объяснила она. В путешествие собираешься долго, размышляя, что с собою взять. Укладываешь полочечее. Бывает, два дня на это уходит. А когда возвращаешься – просто запихиваешь в чемоданы то, что у тебя в номере, вот и все. На полчаса работы.

А вот осенние сборы из имения в Штефанбург – другое дело.

Мы выезжали из ворот нашей усадьбы в октябре, во вторую пятницу после второго четверга – чтобы случайно не выехать в начале октября, а непременно в середине месяца. А в пятницу – чтобы успеть в Штефанбург ко вторнику.

Папа любил начинать дела во вторник. Начинать в понедельник он считал пошлым.

– *«С понедельника начну новую жизнь!»* – сказал лентяй в воскресенье утром, плюхаясь на диван с ногами и закуривая папироску», – так говорил папа в понедельник утром, сидя за чайным столом, тоже закуривая – но не папироску, а сигару – и раздумывая, что делать на грядущей неделе, которая на самом деле уже началась, но понедельник – не считается, я же говорю, это пошло, это по-мещански, это для булочников и галантерейщиков, которые вынуждены открывать свои заведения с утра понедельника, это для студентов, которые должны в восемь утра, грохоча сапогами и протирая заспанные глаза, рассаживаться в аудитории и дожидаться такого же заспанного профессора.

Вторник начинался с еженедельного визита на дедушкину могилу. Это был простой мраморный крест. Мы с папой и моей гувернанткой госпожой Антонеску стояли недолго молча, потом нагибались и делали вид, что поправляем цветы. Делали вид – то есть обрывали какой-нибудь пожелтевший листочек, расправляли стебельки, высвобождали цветок из листвы. Делали вид, потому что за цветами ухаживал садовник, он высаживал сначала гиацинты, потом менял их на анютины глазки, ноготки, бархатцы – и под конец, перед самым нашим отъездом, там появлялись астры. Делали вид, потому что так было положено – делать вид.

Рядом была могила бабушки, о которой я вообще ничего не знаю, кроме того, что она была и родила четверых детей – двух девочек и двух мальчиков. Трое умерли во младенчестве; их могилы были чуть подальше. Остался жить только мой папа. Дедушка раза два сказал – и я это слышала, – что папе сильно повезло со смертью старшего брата, ибо иначе самое большое, на что папа мог рассчитывать, – это стипендия на время обучения в университете. Возможно, какое-то скромное жилье в городе. Ну и хороший подарок на свадьбу и в честь рождения ребенка, то есть меня, и все. «И фунт дыма», – приговаривал дедушка, выпуская облако душистого дыма. Потому что в империи, дабы противодействовать распылению имений, но всячески содействовать сохранению земельной аристократии, был установлен принцип майората. Проще говоря, единственный наследник – старший сын, и точка.

Ну или единственная дочь – как я.

Еще рядом была могила дедушкиного отца и его жены, то есть моих прадеда и прабабки, и еще, кажется, прапрадеда. Вот, собственно говоря, и вся наша фамильная усыпальница, не далее конца восемнадцатого века, ничего особенного, у всех соседей так или примерно так, а у некоторых даже в семнадцатый век залезало, я сама видела. Хотя папа выводил наш род от оруженосца германского императора Генриха Четвертого – но об этом немного погодя.

## II

Приятно вспоминать, как в четверг, часа в три пополудни, к главному крыльцу подъезжала – причаливала, как корабль к пристани, – запряженная четверней главная карета. Дворецкий махал рукой кучеру, кучер махал рукой мальчишкам, которые бегали спереди и подтягивали коней, дергая их под уздцы и заставляя шагнуть ближе к ступеням. Потом кучер снова махал рукой дворецкому. Дворецкий кричал ему что-то еще – а я наблюдала за этим из окна верхней овальной гостиной, которая своим застекленным фонарем, то есть полукруглым выступом стены, выходила прямо на крыльцо. Дворецкий и кучер перекрикивались и переманивались руками минут пять. И наконец дверцы кареты устанавливались точно напротив главного входа, так чтобы полукруглые ступени дали возможность открыть двойную распашную дверцу кареты и приладить специальное деревянное приспособление, положить его на нижнюю ступеньку, чтобы этот своего рода корабельный трап перекрыл собою просвет между крыльцом и порогом кареты.

Это было в память о бабушке, которая однажды, еще совсем молодая, чуть ли не в первый свой выезд из имения в Штефанбург, провалилась ножкою в этот чертов просвет, разодрала чулок и, кажется, сильно ушибла лодыжку. Дедушка не стал откладывать выезд, перетянул бабушкину лодыжку своим шарфом и показал бабушку врачу в попутном уездном городе. Слава богу, не было ни вывиха, ни перелома, врач велел прикладывать холодное, и все – но дедушка, уезжая, приказал управляющему сделать, как он выразился, некие, что ли, мостки. Так он мне рассказывал. С тех пор эти мостки ставили между крыльцом и каретой, хотя бабушка давно умерла, и дедушка тоже, и мама от нас уехала, а я могла спокойно запрыгнуть в карету с крыльца, что я и показывала папе не раз, – но папа соблюдал традицию.

Карета подъезжала, останавливалась, отъезжала, делала круг и подъезжала снова. Это повторялось три или четыре раза, пока лошадям и кучеру, отвыкшим за целый год от таких маневров, не удавалось наконец с первого раза, с ходу, надежно причалить карету к крыльцу. То есть это была всего лишь репетиция.

Мне скучно было смотреть, как они репетируют целый час. Я пробежала овальную гостиную насквозь, проходила по галерее над лестницей и входила в библиотеку, которая, как вы уже поняли, смотрела на задний двор. Там было узкое окно, рядом с ним диван.

Я забиралась на диван с ногами, скинув домашние матерчатые туфельки, а иногда и не снимая вовсе, и смотрела в окно, как из левого крыла нашего дома, где находились хозяйственные помещения, вытаскивали круглые, обшитые мешковиной тюки, корзины, ящики, в которых была любимая папина посуда, окрученное ивовыми прутьями и упакованное в солому любимое папино кресло, с которым он не хотел расставаться, но с которым ему приходилось расставаться чуть ли не на неделю – на время упаковки, путешествия и распаковки. Вытаскивали ящики, где на боку лежали аккуратно уложенные бутылки с домашним вином, тоже переложенные соломой, которая иногда прилипала к мягкому сургучу пробок. Выкладывали даже некоторые книги, опять же папины любимые, из-за чего в библиотеке на полках книжных шкафов возникали прогалины и в каждой прогалине торчала бумажка. «Хоть я беру эти книги сам у себя, – говорил папа, – но все равно запомнить надо. А так как память у меня неважная, лучше записать».

Память у папы была отличная, но после дедушкиной смерти он стал баловаться ролью старика. Например, иногда ронял на жилетку капельку яичного желтка, когда утром ел яйцо всмятку.

Я уверена, он это делал нарочно.

Ему было всего сорок два года. Задумчиво и рассеянно он глядел в угол, как будто бы пытаясь вспомнить, о чем только что говорил, шамкал губами и на всякий случай записывал имена своих знакомых. Не только записывал, но даже зарисовывал. У него была большая записная книжка в мягком кожаном переплете, в которой были довольно ловко набросанные портреты всех его друзей и соседей, а внизу были написаны их имена и фамилии, дни рождения и именины, титулы, разумеется, а также важнейшие происшествия в жизни этих людей, о которых папе становилось известно. Например, умерла тетка такого-то числа, такого-то года; сын поступил в юнкерское училище; брат подал иск в суд, выиграл или проиграл, и все такое прочее. Чтобы знать, о чем с человеком поговорить, чтобы не ляпнуть что-нибудь неподобающе бестактное и вообще, чтобы изобразить человека, который искренне интересуется чужой жизнью. Надобно сказать, что папе это не помогало. Наверно, у него на самом деле память была недостаточно хорошая, чтоб запомнить кучу всех этих мелочей наизусть. А может быть, так: доверив эти сведения бумаге, он ослаблял подпруги своей памяти или они ослабевали сами собой, не знаю. Но, короче говоря, когда папа держал в руке свою тетрадку и, подглядывая в нее, осведомлялся: «Как поживает ваша супруга и хорошо ли она себя чувствует после перенесенной два месяца назад операции?» или «Расцвел ли барбарис на могиле вашего дядюшки?» – это выглядело довольно смешно.

Если бы это был не мой папа, а какой-нибудь другой человек, не такой богатый и не столь знатный, то его обозвали бы в лучшем случае чудачком, а в худшем случае невежей, наглецом, хамом. Эти вопросы восприняли бы как нарочитое издевательство, особенно когда папа пролистывал записную книжку, глядя на изображение своих знакомых и как бы пытаясь сличить стоящего перед ним человека с портретом. «Клоунада на грани оскорбления!» – сказали бы про кого-нибудь другого.

Но папа был слишком богат и знатен, чтобы на него обижались. Тем более что у него всегда можно было попросить в долг. Деньгами, кстати говоря, папа давать не любил. Он, хотя и был человеком высокого образования и утонченных манер, хотя проводил почти полгода в городе – в Штефанбурге, как и мы все вместе с ним, – но при этом считал себя человеком земли, помещиком, аграрием, землевладельцем и даже земледельцем. Крестьянином с очень, очень, очень большой буквы, как он не раз говаривал, дословно повторяя дедушку, – и поэтому деньги он презирал как нечто буржуазное, мещанское, мелочное. Хотя, конечно, на самом деле деньгами никогда не брезговал и иногда проворачивал очень выгодные закладные сделки. Тем не менее в разговорах с соседями на лице его была написана старинная помещичья брезгливость к деньгам, а также безмерное уважение к натуральному продукту. Он мерил свой успех десятинами вспаханной земли, корзинами собранного винограда, снопами, закромами, овцами, телятами и всем таким прочим. Конечно, это была игра. Я это поняла очень давно. Не поняла, а скорее почувствовала, увидев, как он запинается и путается в единицах измерения, когда вспаханную землю меряет то в десятинах, то в гектарах, то в акрах, а то, неизвестно почему, во французских арпанах или древнеримских актусах.

Но соседи принимали эту игру.

Еще бы не принять! Принятие этой игры сулило выгоды. Вот они и просили у моего папы до следующего урожая или до озимой запашки – слова говорились самые безумные и неуместные, – просили у него в долг сотню корзин винограда или, к примеру, десяток быков. Он охотно одалживал, а должники тут же превращали это дело в деньги. Причем, сдается мне, не слишком маялись продажей этих быков на базаре, а с ходу договаривались вот прямо на том же заднем дворе, на который я сейчас смотрела, взобравшись ногами с голыми пятками на холодную кожу дивана, – смотрела через окно. Вот прямо там договаривались с управляющим, показывали ему записку от папы, а уж тут управляющий отсчитывал соответствующее количество крон. А с быками или с этими буколическими *корзинами винограда* управляющий как-то справлялся сам. Скотины, зерна и фруктов было так много, и ревизии проходили так

редко, а если честно, то на моей памяти не проходили никогда, может быть, один только раз еще при дедушкиной жизни.

Я помню, это был страшный скандал.

Дедушка велел высесть кнутом управляющего, и его высекали, а моя мама (они с папой тогда еще жили вместе) кричала: «Но это же скандал, скандал!» А дедушка смеялся и говорил: «А хочешь, я его повешу? И помощника его повешу? И старшего счетовода повешу? Человек пять повешу, как русский царь Николай пятерых мятежников повесил, а его за это только крепче любили».

Я представляла себе большую виселицу на заднем дворе и пять болтающихся тел. Мне совсем этого не хотелось. Я понимала, что вешать живых людей нехорошо, тем более без суда и следствия. Даже если они и обокрали дедушку. Продали на сторону слишком много винограда или ягнят. Вешать за это – слишком жестоко. Но мне совсем не было страшно. Мне было даже любопытно, хотя, конечно, мне бы и в голову не пришло попросить дедушку кого-нибудь повесить. Но боюсь, что, соберись дедушка кого-то казнить, я бы не стала падать перед ним на колени, цепляться за его ноги и плакать: «Нет, нет! Пожалей их, пожалуйста!»

Я была не такая. А мама, наверно, была такая. Она заплакала, когда дедушка сказал, что может повесить пятерых и никто ему слова не скажет. «А если скажет, – добавил он, – то это будет стоить пять золотых полицейскому начальнику». Мама заплакала и спросила: «Куда я попала?» Дедушка сказал: «Ты вольна выбирать. Пусть церковь осудит меня, – продолжал дедушка, – но я никогда не понимал Писание слишком буквально. Я никогда не считал брак чем-то слишком священным и совсем уж нерушимым. Ты вольна выбирать», – повторил он ей еще раз.

Я помню эту сцену во всех подробностях, хотя мне было самое большое пять лет. Или даже четыре.

Но я не о маме. Я о ревизиях. Ревизий в нашем хозяйстве не случалось. Всего кругом было настолько много, что казалось, оно не кончится никогда. Хотя – я это тоже прекрасно знала – мы вовсе не были настоящими магнатами, и князьями-герцогами не были тоже. Как-то так получилось, что я знала это с самого детства. Я помню, как мама и папа обсуждали приглашение на какой-то большой праздник по соседству, летом, в честь Иванова дня, и папа – любитель развлечений – вдруг довольно строго сказал, что с этой компанией он не желает иметь ничего общего.

– Но это очень любезные господа, – сказала мама. – Видишь, какое чудесное приглашение они прислали, – взяла со стола и показала папе длинный конверт, украшенный золотым гербом. Папа молчал. – Чудесные господа, настоящие аристократы, или ты опять думаешь, – сощурилась она, – что они тебе не ровня?

Я поняла, о чем она говорила.

Папа довольно часто громко фыркал при упоминании каких-то людей, с которыми они с мамой встречались во время чаепитий или домашних спектаклей. Или, возвращаясь с охоты, рассказывал о ком-то, что господин такой-то, конечно, образованный человек, глубоко порядочный и вполне благородного образа мыслей. Во всех отношениях приличный господин, но есть в нем что-то неодолимо мещанское. «Неужели мещанское – это самое страшное?» – спрашивала мама. «Нет, не самое, – смеялся отец. – Есть кое-что пострашнее». – «А именно?» – спрашивала мама. «Мелкопоместное, – отвечал папа. – Эти маленькие дворянчики, которые вдруг оказались у стремена кайзера и обшлагом своей куртки всеподданнейше стерли кусочек дерьма с его каблука, вдруг по кайзерову капризу получили наследственный удел в сотню десятин и тут же начали мнить себя аристократами». Мама начинала мять платок, вытасенный из манжеты платья.

«Но к тебе это ничуть не относится», – говорил папа.

К маме это действительно не относилось.

Потому что мамина семья вела род от незаконного потомка первого – тоже не совсем законного, в невенчанном браке рожденного – сына, вы не поверите, аж самого Генриха Птицелова! Да, Генрих Птицелов лишил своего первого сына наследства и передал корону своему сыну от второй жены. Но кровь все равно королевская, даже императорская. И, извините за выражение, десятый век. Не фунт изюму. Но при этом та самая сотня десятин земли и полуразвалившийся нелепый каменный дом. Ничего не осталось, кроме фамилии. Кроме фамилии матери злосчастливого первого сына великого германского короля Генриха Птицелова – Хатенбурги фон Мерзебург.

– Что? – спросила мама, держа в руках великолепный конверт. – Опять неровня?

– Да, – спокойно, строго и вместе с тем грустно сказал папа. – Неровня. – И вдруг виновато улыбнулся. – Но в другом смысле. Я не желаю пить чай и слушать крестьянские песни в компании людей, которые в десять, а может быть, в сто или даже в тысячу раз богаче и знатнее меня.

– Мне кажется, ты преувеличиваешь, – сказала мама.

– Ничуть, – ответил папа.

– Я не думаю, – сказала мама, подойдя к нему поближе, взяв его за руку, ласково перебирая его пальцы. – Я не думаю, что там... – Она чуть-чуть повела глазами вверх, и непонятно было, что она имеет в виду – Бога или высшую аристократию; скорее всего, аристократию. – Я не думаю, что там существуют такие счета. Есть определенная грань, ты же понимаешь, за которой все как будто бы уже и равны.

Папа взял ее руку, приложил к губам и аккуратно расцеловал пальчики. Потом отнял руку и сказал:

– Счета существуют. У меня. Вот здесь, – и постучал себя костяшками пальцев сначала по груди, а потом на всякий случай по голове, по лбу, показывая тем самым, что эти счета существуют у него в душе и разуме. – Но, – добавил папа, – если тебе уж очень, ну просто нестерпимо хочется провести вечер среди герцогов и магнатов, то я, так и быть, поеду с тобой.

– Нет, нет, что ты, – сказала мама. – Что ты, милый! Главное, чтобы тебе было спокойно на душе. Главное, чтобы тебе было приятно.

Папа взял мамину руку и поцеловал еще раз.

– Тогда поезжай одна, – сказал он. – Но непременно поезжай.

– Я тебя не пойму.

– Что тут непонятного? – пожал плечами папа. – Манкировать таким приглашением никак невозможно. Да и опасно, в конце концов. Этот господин, – он потыкал пальцем на герцогский герб на конверте, – обидчив и капризен. Чего доброго, подумает, что наше скромное семейство не уважает его. А ты скажешь, что я внезапно захворал. Можешь даже сказать, что я вывихнул себе ногу, соскакивая с лошади. А когда ты уедешь, я непременно забинтую себе лодыжку и возьму костыль.

– Как странно, – сказала мама. – Мне кажется, ты живешь в придуманном мире.

– Этот мир действительно придуман, – сказал папа. – Выдуман от начала и до конца. Но не я его придумал. Вполне возможно, тебя поедет провожать конный от герцога, ведь будет уже глубокая ночь. Этот конный спешится, поможет тебе выйти из коляски. И вот тут на крыльцо выйду я, крихтя и охая, опираясь на костыль и подволакивая забинтованную ногу...

Мама склонила голову – наверное, чтобы не засмеяться.

А я все стояла и смотрела в окно библиотеки.

Глядела, как в грузовую карету затаскивают высокие двуручные сундуки – стоячие, почти в человеческий рост. Их было много. Шесть или восемь штук, я сбилась со счета. Там висели папины костюмы и мои платья. Там хранились шляпы, белье и даже зонты и трости – у этих

высоких стоячих сундуков на передней дверце были устроены специальные матерчатые петли для зонтов и тростей.

Мы снимали одну и ту же квартиру в Штефанбурге уже много лет. У нашей семьи было предостаточно средств, чтобы иметь и городскую обстановку, и деревенскую. Достаточно средств для того, чтобы закупить кресел и книг, а главное – костюмов, платьев и белья, повесить их в шкаф в городской квартире и не знать заботы с этими упаковками, распаковками и переездами. Когда-то я сказала об этом папе. Он спросил:

– А зачем?

– Это экономит немало времени, – сказала я.

– Ты заботаешься о времени, которое тратят слуги? – засмеялся он.

– Ну почему же только слуги? – возмутилась я. – Вот я, например, целую неделю, а может, даже больше перед отъездом только и знаю, что перетряхиваю свои платья, блузки и панталоны, туфли и все раскладываю на кучки и пачки. Моя комната превращается в бельевого склад или в костюмерное депо театра. Кругом висит и валяется всякая одежда, и мы вместе с госпожой Антонеску решаем, что постирать в первую очередь, что во вторую, что класть сверху, а что снизу. Ну ладно я. А ты? Ты ведь тоже целый месяц вместе со своим камердинером потрошишь шкафы и раскладываешь кучами, прямо на ковре – я сама видела – свои пиджаки, сюртуки и фраки, рубашки, гетры и все такое.

– Ты предлагаешь мне экономить время? – снова засмеялся папа. – Добрая моя Далли. – Он погладил меня по голове и поцеловал в макушку. – Я сам об этом думал не раз. Но одежда нуждается в проветривании. Представляешь себе, что станет с твоими платьями и моими костюмами с марта по октябрь? В затхлых шкафах в запертой городской квартире? Они просто протухнут, как колбаса в тепле. – Он засмеялся еще громче. – А нанимать человека, городского человека из Штефанбурга, который бы раз в неделю открывал шкафы, вытаскивал костюмы и махал бы ими из стороны в сторону, – это, сама суди, несколько смешно. И не только! На него вполне могут обратить внимание полицейские агенты. В доме, где мы снимаем квартиру, живут, как ты знаешь, некоторые высокопоставленные господа. Времена сейчас опасные. В России не так давно случилась революция. Царь даровал стране парламент. Это вызвало брожение умов, и в наших краях тоже – мы ведь соседи. Соседи с Российской империей, я имею в виду, ты меня слышишь? Времена опасные, тревожные. Я уверен, что тайная полиция увеличила свой штат и уж непременно наблюдает за квартирами высших сановников. А двое из них, повторяю, живут в том доме, где нам посчастливилось арендовать квартиру. Не исключая, – воодушевленно продолжал папа, – даже более того, берусь утверждать, что в доме напротив, где меблированные комнаты, установлен наблюдательный пост и некий агент сквозь щель в занавесках смотрит в окна нашего дома. И вот представь себе, – папа совсем развеселился, – агент видит, что в нашей квартире, в большой богатой квартире на втором этаже вдруг зажигается окно и какой-то мужчина в течение получаса размахивает пиджаками и брюками. И вот так каждый четверг. Они его, несомненно, арестуют и допросят. Он покажет на меня. Скажет, что я его нанял и велел махать костюмами по четвергам! К нам приедет полицейский агент. И выяснится, что для дачи официальных показаний мне надо будет ехать ну если не в Штефанбург, то хотя бы в уездный город. Ну скажи, зачем мне это нужно?

Мне показалось, что папа рассказывает какую-то комическую историю, что-то в духе «Семейство Бухгольц за границей» или «Трое в одной лодке». Я расхохоталась.

Папа схватил меня под мышки и закружил по комнате. А потом поставил, но не на пол, а на стул, сел на диван и сказал:

– Но это не главное. Главное, милая моя Далли, другое. Ты сказала «экономить время». Отлично. А ты не подумала, зачем? Что ты будешь делать с этим сэкономленным временем?

Я молчала.

Я стояла на стуле, смотрела на папу сверху и оглядывала всю комнату. Сверху она выглядела немножко иначе. Лампа, статуэтки, кресла – все показалось каким-то маленьким. А на крыше небольшого книжного шкафчика я увидела толстый слой пыли.

– Сэкономить время, вот зачем, – сказала я, простирая руку, как римская статуя. – Дабы забираться на стул и наблюдать, где лентяйка Элла не вытерла пыль.

– Эх! – сказал папа. – А я-то хотел вступить с тобой в философский спор в духе графа Толстого. Был в России такой замечательный старик. Он все время спрашивал: «Построили железную дорогу, а ехать-то куда? Изобрели телефон, а говорить-то о чем?» Вот и я так подумал. Сэкономить время, а чего ради? А ты у меня оказалась слишком практичная. Слезай со стула.

Ну ничего, папочка, я тебе покажу, какая я практичная. Я тебе столько романтики и философии наворочу – не разгребешь...

Пыль на шкафу, кстати говоря, так и осталась не вытертой. Мне показалось как-то стыдно напоминать об этом папе, нашему дворецкому или подстерегать Эллу, когда она со шваброй и тряпкой ходит из комнаты в комнату, и говорить ей: «Не забудьте вон там, наверху». Стыдно не перед Эллой, а вот как-то перед самой собою. Дурное помещичье воспитание.

Итак, пока у переднего крыльца шла репетиция, на заднем дворе всю укладывали вещи в грузовые кареты. Мы ехали в Штефанбург целым поездом: главная карета, в которой ехали мы с папой, четыре грузовые кареты, еще две кареты для прислуги. В одной из них ехал папин камердинер и моя гувернантка (ах, простите, что я назвала их прислугой!), в другой ехал наш дворник, он же уборщик-носильщик, а еще повар и горничная, и еще девушка на всякий случай.

Два года назад, когда мы вот так паковались перед отъездом, я попросила папу не брать с собой гувернантку, потому что я уже большая.

– Ты что, – спросил папа, – хочешь, чтоб я ее рассчитал?

– Тебе решать, – сказала я, что означало «да, хочу».

– Что же, тебе совсем никто не нужен? – спросил папа.

– Ну почему же никто? – сказала я. – Мне нужна своя горничная, конечно же. Мне же кто-то должен помочь разобраться с моими платьями и вообще одеться, раздеться, умыться, причесаться. Но, посудите сами, мне уже четырнадцать, и мне неловко. Ну то есть, когда я была совсем маленькая, когда мне было семь, восемь, даже двенадцать лет, госпожа Антонеску была одновременно моей учительницей и няней. Но сейчас мне, право, неловко, госпожа Антонеску образованная дама, училась в Париже, знает три языка, математику и историю, и вдруг она будет стаскивать с меня чулки.

– Но, кажется, она не жалуется! – сказал папа.

– Мне неловко, мне, мне! – сказала я.

На самом деле мне было не просто неловко. Хотя и это было тоже. Ну сами судите: немолодая, высокоученая дама помогает застегнуть платье девчонке. Горничную до меня госпожа Антонеску почему-то не допускала. Считала, что она должна делать все сама. Но главное, мне хотелось в этот приезд в Штефанбург быть чуть-чуть посвободнее.

Мне надоело гулять по городскому парку в компании госпожи Антонеску, беседуя с ней по-французски об истории Древнего Рима, и что в театре по фойе она прохаживается рядом. Мне хотелось чего-то другого. Чего именно – не знаю, не могу сказать. Да и надо ли говорить?

– Хорошо, – сказал папа. – Но в любом случае госпожа Антонеску поедет с нами. Какой смысл ей оставаться в поместье, когда нас там нет? Я, конечно, готов ей заплатить за пропущенные полгода, но боюсь, она и сама не захочет.

– Почему? – спросила я. – Может, наоборот? Поживет здесь одна. Назначим ей горничную. Будет целыми днями читать книжки, гулять, удить рыбу, пить какао. Плохо ли?

– Я, конечно, ей предложу, – сказал папа. – Если ты настаиваешь. Но уверен, что она откажется. Видишь ли, Далли, мещане – очень гордые люди. В них гораздо больше гордости, чем в аристократах самого высокого пошиба. Запомни это, – сказал он серьезно. – Запомни, пригодится, – и вышел из комнаты.

Я потом сама спросила госпожу Антонеску, предложил ли ей папа такие прекрасные каникулы. Зимние каникулы длиной почти в полгода – с октября по март. В нашем пустом поместье, где она будет фактически за хозяйку.

– Нет, милая Стася, – сказала госпожа Антонеску. – В смысле да. Ваш отец предложил мне это. Он очень щедр и добр. Но я отказалась. Это совершенно невозможно.

Я даже не спросила почему.

Госпожа Антонеску, как и все, называла меня Стася, потому что мое полное имя было Адалберта-Станислава. И дедушка распорядился, чтобы родные звали меня Далли, по первому имени, а все остальные – Стася, по второму. Хотя не все это соблюдали, конечно.

– Хорошо, – сказал папа. – Горничную мы тебе найдем уже в Штефанбурге. Или ты выберешь кого-нибудь из здешних?

– А если выберу, – сказала я, – как мы ее повезем? Неужели снаряжать еще одну карету? В том возке она не поместится – там уже дворник, повар и две девушки. Разве что их не брать?

– Почему ты об этом думаешь? Почему тебя заботят такие хозяйственные мысли? – спросил папа.

– Не знаю, – сказала я. – Я вообще не разбираюсь со своими мыслями. Какая в голову придет – та и моя. Но зато я знаю, о чем ты сейчас подумал, когда сказал про хозяйственные мысли. А до этого ты сказал, что я слишком практичная.

– Не смей! – воскликнул папа. – Это клевета.

– Конечно, клевета, – сказала я. – Я очень романтичная.

– Нет, ты не поняла. – Папа весь залился тяжелым румянцем. – Это ты на меня клеветашешь, повторяешь клевету своей матери. Я никогда, ты слышишь, никогда! Ни в мыслях, ни во сне, ни спяну, ни во гневе не обвинял ее в том, что она мне якобы изменила, что якобы ты – моя, то есть ее дочь от инженера, управляющего шахтами господина... ну, неважно, тем более что это ложь. Это она мне поднесла на блюдечке такую мерзкую клевету, что якобы я ее в чем-то подозреваю. Но это же безумие, бред! Иди сюда. – Он сграбастал меня в охапку, подтащил к зеркалу. – Смотри на наши носы. Смотри вот на этот вот крохотный уступчик. Не острое, не картошечка, не утиная нашлапка, а вот именно этот вот уступчик. Ну-ка, чуточку в профиль. У тебя и у меня. Теперь смотри на родинку на правой щеке, под нижним веком. Видишь? И у тебя, и у меня. Брови. Видишь? Уши, наконец. Смотри, как идет мочка. Смотри, какой загиб раковины. В точности. Видишь? Теперь ты видишь? Что ты – моя дочь?

– Я всегда это знала, папочка, – сказала я. – Что с тобой, мой дорогой? Я вообще все это первый раз слышу! У меня никогда не было в голове таких глупых мыслей!

– А она меня обвиняла в том, что я ее обвиняю!

Мне вдруг стало неприятно и смешно одновременно.

– Разбейтесь сами, – сказала я.

– Теперь уже все, – сказал папа.

Потому что мама к тому времени уже от нас уехала.

– Ну и тем более. И насчет хозяйственного ума. Это не хозяйственный ум, а просто интересно. Ну как мы повезем мою новую горничную? Если я, конечно, найду среди здешних девчонок (я произнесла «девчонок» с некоторым вызовом), если я найду ту, которая мне понравится, ца-ца-ца... – сказала я и усмехнулась, и высунула язык, и правой рукой сделала совсем уже неприличный жест.

– Боже мой, Далли! – Папа покраснел еще сильнее. – Что с тобой? Ты ли это?

– Это я, – сказала я. – Ты сомневаешься? А со мной ничего. Я просто хотела спросить, как мы повезем мою новую горничную. Я совершенно серьезна.

– Господи, – сказал папа, – посадим ее в карету, где мой лакей и госпожа Антонеску.

– Это невозможно, – ответила я.

– Ах, ах! Ты думаешь, им там будет тесно? – засмеялся папа, вытирая пот со лба.

Я сумела сильно вогнать его в краску.

– Да при чем тут тесно? – сказала я. – Твой камердинер, да, кстати, не называй его этим презрительным словом «лакей», твой камердинер, а лучше сказать, твой помощник, твой адъютант – образованный человек, умница, дипломированный электротехник. Учился, кстати говоря, в том же Париже, знает по-французски, по-немецки и даже по-русски. И ты, разумеется, знаешь, что у него роман с госпожой Антонеску.

– Что? – воскликнул папа.

– А ты что, думал, что он влюблен в тебя мужской платонической любовью? – сказала я. – Или, может быть, ты думаешь, что такой достойный и образованный господин по ночам бегает в деревню, к девкам на сеновал? Или где-нибудь в чуланчике зажимает нашу лентяйку Элли и договаривается с ней за две кроны? – Папа закрыл лицо ладонями и только мотал головой. – Фу, папа, как тебе не стыдно? Твой помощник – благородный человек и не только, как нынче все говорят «благородный» в смысле честных помыслов и нравов, но и в прямом смысле. Дворянин!

– Как? – Папа вскрикнул, как обожженный.

– Ну, полудворянин, – успокоила его я. – Побочный сын прусского офицера, насколько мне известно. А офицер, скорее всего, дворянин. Ну, или потом выслужил личное дворянство за ордена и храбрость.

– погоди, – помотал головой папа. – Ты хочешь сказать, что отец моего лакея выслужил личное дворянство?

– Я в этом почти уверена, – сказала я.

– Но выслужил дворянство после? – нервно спросил папа. – Уже после того, как он стал незаконным отцом моего, как ты выражаешься, помощника?

– После, после, – сказала я. – Конечно, после! Самое маленькое через десять лет.

– Ну тогда это не считается, – облегченно вздохнул папа. – Слава богу!

– погоди, – сказала я. – Папочка, ты что? Ты серьезно? – Я даже несколько фамильярно потрепала его по плечу.

– Абсолютно, – строго сказал он и довольно грубо (точнейший ответ на мою фамильярность) сбросил мою руку со своего плеча.

Потом перевел дыхание и спросил:

– Так, значит, ты думаешь, что у них роман? У госпожи Антонеску с моим Генрихом?

– Я это точно знаю, папа, – сказала я. – Как знаю то, что сейчас светлый день и вот эта блузка белая. Поэтому пусть они едут в своей карете вдвоем. Дадим им возможность попрощаться как следует. А горничную для меня найдем в Штефанбурге.

– Хорошо, – эхом ответил папа. – А горничную для тебя найдем в Штефанбурге.

Ясно было, что он думает о чем-то другом. Уж конечно, не о горничной. Не о романе госпожи Антонеску с его камердинером и даже не об этом безумном, бредовом скандале между ним и мамой, который привел к их расставанию и разводу.

Ясно было, что он думает обо мне.

Что я повзрослела и что в этом нет ничего хорошего.

А выезжали мы, как и было сказано, в пятницу ровно в полдень. Карета плавно и ловко подкатила к главному крыльцу. Мы с папой забрались вовнутрь. Там было четыре места на пружинных диванах, обитых крепким пожелтевшим шелком, и вся карета была обита таким

же шелком, простеганным ромбиками, и в этих пузатых ромбиках можно было нащупать пружинистую волосяную набивку. Когда-то мы рассаживались вчетвером, вместе с бабушкой и моей мамой. Сейчас мы сидели с папой вдвоем. Меня папа посадил лицом к движению, так что я видела через окошко спину кучера и две лошадиные задницы, а сам сел к кучеру спиной, чтобы глядеть на уходящую дорогу. Я всегда просилась на это место, но он говорил мне, что от этого кружится голова. Но когда мы выезжали из ворот, я всегда становилась на сиденье на колени и смотрела, как уменьшается наш дом, как он скрывается за поворотом посыпанной желтой известковой крошкой дороги, и вот наконец ворота, символический забор, который простирался влево и вправо, красивый и кованый, шагов на пятьдесят в каждую сторону, не больше, потому что какая чепуха – охватить забором такой огромный кусок земли с речками и озерами, деревнями и хуторами, просторными полями и густыми опасными лесами – нет, невозможно! Но обозначить границу все-таки было надо. Ворота ее и обозначали. А основное, главное наше имение было там, далеко, за барским домом.

И вот мы выехали из ворот на землю, которая уже принадлежала короне, на королевскую дорогу. Но она не стала лучше от того, что превратилась в королевскую, а может, теперь уже даже в императорскую. Она была точно такая же, засыпанная желтой известковой крошкой, и довольно узкая, на ней с трудом могли разъехаться две кареты.

А следом за нами ехал возок, где госпожа Антонеску, наверно, о чем-то прощально говорила с папиным камердинером. А может, они просто молча смотрели в окно. Скорее всего, так. Дальше грузовые кареты и в самом конце карета, где ехали четверо слуг, о которых я уже, кажется, вам рассказывала.

Да, мы выехали из ворот. Я увидела две мраморные статуи, которые стояли на желтых кирпичных оштукатуренных столбах-постаментях. Это были Дидона и Эней из «Энеиды» Вергилия. Дидона и Эней, про несчастную историю которых мне рассказывала госпожа Антонеску. Наверно, теперь они были на них похожи – Генрих и госпожа Антонеску, с одной лишь разницей. В римской поэме Эней уплывал на корабле, а Дидона оставалась на своем острове. А у нас – наоборот. Отчаливать приходилось госпоже Антонеску, отплывать в дальнейшее путешествие по жизни. А Генрих оставался с нами.

Если выезжать из ворот, то Эней был на левом столбе, а Дидона на правом. Они оба смотрели вдаль, но Эней совсем вперед, а Дидона тоже вперед – потому что не могла же она просто повернуть голову и глядеть на Энея, тогда бы терял симметрию весь ансамбль, – тоже смотрела вперед, но чуть левее. Их взгляды пересекались там, где дорога поворачивала и скрывалась за плотным рядом тополей. Года два или три назад я нашла эту точку. Я взяла бабушкин бинокль и пошла по дороге. Я шла и оборачивалась, и смотрела на них в бинокль, и видела, что Эней все время смотрит на меня, как будто прямо мне в глаза, а Дидона немного вкось. Но я все шла и оборачивалась, шла и оборачивалась, смотрела в бинокль, проверяя, ища эту заветную точку, пока не увидела: вот оно, наконец-то – Дидона и Эней оба смотрят прямо на меня. Это было примерно за полверсты от ворот, как раз перед поворотом, я же говорила. Наверно, именно в этой точке и находился корабль Энея, на который смотрела Дидона, а сам Эней стоял на воротах уже как ее воспоминание. Вы спросите – как же отпустили тринадцатилетнюю девочку так далеко за ворота поместья, вообще за границу имения совсем одну? Конечно, не одну. Я же была с госпожой Антонеску. А около ворот красил решетку наш дворник Игнатий, чернобородый мужик невероятной, воистину дворницкой силы. Так что юная Адальберта-Станислава – то есть я – была в полной безопасности.

С этим Энеем произошла страшная история.

Статуи были мраморные, и на зиму, еще по бабушкиному приказу, на них надевали деревянные короба, чтобы тающий снег во время оттепели не проник в тончайшие, глазу невидимые трещины, не замерз бы и не раскрошил нежный итальянский мрамор. Бабушка говорил

мне, что коробка ставили буквально на следующий день после отъезда, а может быть, даже в тот же день, прямо в ту же минуту, когда хозяйская карета скрывалась за поворотом.

Но об этом – чуть позже.

### III

Перед нашим возвращением, когда та самая сосулька, намерзшая на оконном барельефе снаружи окна нашей квартиры в Штефанбурге, начинала таять, таять, таять, капать, капать, капать – когда сосулька становилась все тоньше и прозрачнее, – вот в эти самые дни мы послали письмо в поместье, что возвращаемся. Обычно это был конец марта. А если тепло, то самое начало второй его половины.

В поместье приходило письмо. Управляющий и все оставшиеся слуги начинали готовиться к нашему приезду: мели, чистили, стряхивали пыль с шелковых подушек на диванах и креслах.

Я помню долгие споры дедушки и папы о том, какой наказ давать слугам осенью, перед нашим отъездом: прибирать в комнатах через день, а раз в неделю делать большую уборку или просто накрепко запереть двери и убирать комнаты перед приходом хозяев. Дедушка был сторонником первой точки зрения, а папа второй. Папа говорил, что швабры и щетки изнашивают паркет и штофную обивку. Дедушка же отвечал, что пол швабры не боится, а сукно не боится щетки и что пыль представляет собой микроскопические камешки. Если этих камешков наберется слишком много, то обивка кресел потерпит больший ущерб от большой разовой чистки, когда с нее сковыривают слой пыли толщиной с палец, чем от каждодневных взмахов нежной щеточки. А то и вообще султана с филиновыми перьями. «Папа, неужели вы это серьезно?» – воскликнул мой папа дедушке, то есть своему отцу. «Абсолютно, – шелкал пальцами дедушка. – Но главное, глупенький мой, не в этом. Главное в том, что дом должен жить, даже когда хозяев там нет. Нет ничего ужаснее, чем отпереть комнату, в которую полгода не ступала нога человека. Там появляется совершенно особенный запах». Папа не соглашался. Но поскольку хозяином поместья, а значит, главой семьи был все-таки дедушка, то все шло по дедушкиному приказу. Управляющий писал, что комнаты моются, выметаются и чистятся от пыли точнейшим образом по тому расписанию, которое велел выполнять господин.

Ну а когда дедушка умер – теперь вам понятно, почему папа не хотел нанимать человека проветривать костюмы в нашей городской квартире в Штефанбурге? Ясное дело, что никакая тайная полиция была тут ни при чем. Это он все для меня рассказывал, забавлял маленькую дочку, а на самом деле все проще: раньше у нас все было по-дедушкиному, а сейчас будет по-папиному.

Я не знаю, насколько тщательно слуги выметали комнаты в наше отсутствие, но я знаю точно, что они прекрасно пользовались этим приказом, превратив его в разрешение едва ли не жить в господском доме. Однажды, вернувшись из Штефанбурга, я обнаружила в своей постели – точнее, в шелке между матрасом, обтянутым свежей простынкой, и деревянным изголовьем, – обнаружила там женский волос.

Это был довольно длинный волос, длиннее моего. Я примерила от макушки, прижав его пальцем и протянув вниз, – оказалось, что он на целых две ладони длиннее моих, и это учитывая, что в Штефанбурге я ни разу не стриглась, а волосы мне подровняла перед отъездом мадам Антонеску. Но главное, у меня были волосы темные и довольно тонкие, а это был волос светлый, золотой, чуть-чуть волнящийся и толстый.

Я раскрыла медальон, скрутила волос в колечко и спрятала туда, благо там не было ничего портрета, потому что портрет мамы я оттуда вытащила после одного происшествия, о котором расскажу позже. Я стала присматриваться к нашим служанкам. Может быть, первый раз за двенадцать лет своей жизни. До этого я их как будто даже не различала. Я знала, что есть госпожа Антонеску – моя родная и любимая, строгая, злая и при этом совершенно собственная. Была лентяйка Элла, которую я просто один раз спросила, как ее зовут. Может

быть, она была вовсе даже Эльза или как-нибудь иначе. Может быть, я просто не расслышала, как она мне ответила, когда я ее еще детским голосом спросила: «Как тебя зовут?» Она что-то буркнула: «Эллл...» Я спросила: «Элла?» Она ответила: «Да, барышня», – и делу конец. Я не скоро узнала, что папиного камердинера зовут Генрихом. Да и откуда мне это было знать? Папа обращался к нему «дружочек» или «приятель», а в третьем лице вообще никак о нем не говорил. Ну разве так: «Мой... э... друг...»

Однажды, когда я услышала это, я спросила папу:

– Он твой друг?

– Так принято, – ответил папа. – Например, так говорили русские дворяне. Ты читала «Евгения Онегина», сочинение Александра Пушкина, роман в стихах? Ах, да что я такое говорю. Конечно, нет. Но непременно прочитай! Так вот. Там русский барин Онегин, представляя своего камердинера – француза, кстати! – говорит: «*Мой друг, monsieur Guillot. Хоть человек он неизвестный, но уж конечно, малый честный*». Поняла, Далли?

– Поняла, – сказала я, хотя на самом деле поняла не очень. – Значит, если дворецкий «мой друг», то, значит, если ты будешь кого-то с кем-то знакомить и скажешь: «Рекомендую вам, мой друг», – что тот человек должен подумать? Все во фраках – и хозяева и слуги, – как же разобрать, кто на самом деле друг, а кто «человек неизвестный, но малый честный»?

Разводя руками в воздухе, я попыталась нарисовать перед папой такую ситуацию.

– Ну не знаю, – сказал папа. – Должно быть, у меня просто никогда ничего подобного не случилось. Да и не случится, полагаю.

Вот тут-то я спросила, а как камердинера зовут.

– Самое простое имя, – сказал папа. – Как у вымышленного предка твоей мамочки.

– Генрих?

– Именно.

– А почему вымышленного?

– А потому, деточка, – сказал папа, поставив меня перед собой (он сам сидел в кресле, а я стояла с книжкой в руках. Разговор шел в библиотеке), – а потому, моя родная, что старший сын Генриха Птицелова, бедный Танкмар, женат не был и потомства не оставил. Так что нет в тебе крови ни Людольфингов, ни даже Мерзебургов.

Людольфинги, как я к тому времени уже прекрасно знала, – это был род Генриха Птицелова, а Мерзебурги – род его первой жены, несчастной матери его первого сына, от которого он потом отказался.

Это была история просто для романа!

Прекрасная Хатебурга фон Мерзебург ушла в монастырь, овдовев. Генрих Птицелов увидел ее, влюбился и, несмотря на сопротивление церкви – да и она сама сопротивлялась, наверное, – силой взял себе в жены. Похитил из монастыря, проще говоря. А когда развелся с ней, подлейшим образом использовал тот факт, что церковь этого брака не признала, поскольку даже королю в те времена запрещено было жениться на монахине. Хатебурга снова ушла в монастырь, а бедный Танкмар остался без наследства и потом был убит во время войны со своим единокровным братом – сыном Генриха от второй жены. Жестокий и чувствительный роман. Какие подлые твари эти мужчины.

– Так что вот, запомни, деточка, – сказал мне папа. – Все это выдумки. Я не знаю, откуда твоя мама взяла такую красивую фамилию и кто ей сочинил такую славную родословную. Но факт остается фактом. У Танкмара не было ни жены, ни детей.

– Это был незаконный сын! – закричала я. – Мама мне все объяснила! Незаконный сын Танкмара от другой графини фон Мерзебург, которая к тому же была его троюродной сестрой. Потому что была дочкой двоюродной сестры его мамы – той самой, которая умерла в монастыре.

– Незаконный сын? – всплеснул руками папа. – Страшные создания эти женщины. И она это говорила своей маленькой дочери! Ужасные создания! Шагу не могут ступить без адюльтера.

Как смешно! Не успела я подумать, какие страшные создания мужчины, как папа, словно бы прочитав мои мысли, сказал мне то же самое про женщин.

Я не совсем точно знала, что такое адюльтер, но догадалась.

Наверно, этот волос, который я нашла в своей кровати, был следом племейского адюльтера в комфортабельных условиях господской спальни. Даже не спальни, а детской. Впрочем, к тому времени мне поставили вполне взрослую кровать уже третьего размера или даже четвертого, если считать колыбельку. Сначала колыбелька, потом миленькая маленькая кроватка с деревянной полированной загородкой, потом кровать для девочки метров полутора длиной, наверное, и вот, наконец, когда я к двенадцати годам уже достаточно вытянулась, мне была сделана в нашей столярной мастерской почти настоящая взрослая, женская – точнее, девичья, потому что довольно узкая, – кровать.

Я думала: чего бы им было не пойти в дедушкин кабинет, например, который сохранялся в полной неприкосновенности и где был широченный кожаный диван, а в смежной с ним спальне стояла большая дедушкина кровать с четырьмя резными столбиками по углам. Или чего бы не пойти в папину спальню: хотя они с мамой развелись уж сколько лет, но супружеское ложе папа выкидывать не желал.

Помню, дедушка был еще жив, и они с папой обсуждали папину кровать, и папа в ответ на ехидные дедушкины вопросы сказал, что ему просто приятно спать, раскинувшись во всю ширь и мощь, спать посередине, да так, чтоб ни правой, ни левой рукой не доставать до краев.

– Не понимаю, что тут удобного, – сказал дедушка. – А ежели водички попить среди ночи захочется? Так и будешь бревнышком перекатываться к прикроватному столику?

Тут я встряла, потому что как раз была рядом с ними – разговор шел в саду. И еще потому, что мне самой хотелось что-нибудь пошире, поудобнее.

– А у германского канцлера Бисмарка, – сказала я, – его одинокая кровать была еще шире, чем у папы с мамой. То есть чем у папы осталась после мамы, ну, вы поняли, да? Очень широкая.

– Вот! – сказал папа. – Многие достойные господа спят на широких кроватях.

– Тебе нравится Бисмарк? – спросил дедушка папу. Папа засмеялся, в один и тот же миг патристично покачал головой, но и независимо пожал плечами. – А ты откуда знаешь про кровать Бисмарка? – спросил дедушка у меня.

– Видела фотографию в журнале.

– В журнале?

– Да! – сказала я. – Ух, какая страшная фотография! Мертвый Бисмарк лежит на кровати, кровать огромная, четыре подушки – три белых, одна черная, – а слева от него часы на тумбочке, показывают без пяти четыре, справа миска и свечка, и он правой мертвой рукой какую-то черную тряпку держит!

– В каком журнале? – удивился папа. – Где?

– У тебя, – сказала я. – В твоей библиотеке.

Папа повернулся, почти бегом пошел в дом и минут через пять положил на садовый столик целую пачку журналов за 1898 год.

Он стал их листать, показывая дедушке, – я стояла у дедушки за спиной и видела, что там действительно были картинки канцлера Бисмарка на смертном ложе, но не фотографии, а гравюры, и ни капельки не страшные, очень благолепные и торжественные – покойный возлежал, убранный пальмовыми ветвями, в эполетах, с пышно расчесанными усами, с лавровым

венком на лбу, в окружении офицеров почетного караула, и гроб был очень узкий, как и положено гробам, и вокруг стояли многосвечные канделябры.

– Зачем ты выдумываешь? – спросили папа и бабушка почти что хором.

– Я точно видела! – сказала я.

Да, я точно видела эту фотографию. Я даже помню бантики на подушке, стоящая подсунутой под мертвую, с подвязанной челюстью, голову канцлера. Бантики были слева от Бисмарка. То есть справа от меня.

– Ты лжешь, – строго сказал папа. – Так делают очень, очень, просто очень испорченные дети!

– Фу, Мирек! – сказал бабушка папе. – Она просто фантазерка. Правда, Далли?

И он, протянув руку назад, метко надавил пальцем мне на нос – я же стояла за спиной его соломенного кресла, – надавил и сказал: «Дзынь-дзынь-дзынь».

Я не знаю, откуда в моей голове взялась эта фотография. Но я ее видела так, как будто прямо сейчас рассматривала на журнальной странице. Однако я не хотела огорчать бабушку своим упрямством – и потом, как я докажу? Где эта картинка? Поэтому я опустила глаза, соглашаясь, что я фантазерка, но добавила:

– Но все-таки бывают очень широкие кровати для одного человека!

– Вот именно! Даже если это не Бисмарк! – засмеялся папа и сказал мне: – Далли, отнеси журналы на место.

Я взяла журналы со стола, отошла на два шага и остановилась, потому что поняла, что сейчас начнется самое интересное.

– Ага, – сказал бабушка, – а я-то, старый дурак, не понял. Ты небось заново жениться собрался, поэтому и кровать бережешь?

– Во-первых, нет, – сказал папа, – не собрался и вряд ли соберусь. А во-вторых, если бы и собрался, то уж в этом-то случае наверняка выкинул бы старую кровать и для нового брака приобрел бы новую.

– Ибо нельзя новое вино в старые мехи? – засмеялся бабушка.

– Что-то вроде, – сказал папа, обнял бабушку за плечи и нежно поцеловал в лысину. И тут заметил меня. Что я стояла в двух шагах и слушала весь этот очень взрослый разговор.

– Иди в библиотеку, – крикнул папа. – Я же тебя попросил! А ну бегом!

Я повернулась и пошла.

– Но только положи на столик! – крикнул папа мне вслед. – Просто положи на столик. Не вздумай ставить на полку. А то затиснешь неведомо куда, и я потом не найду.

«Но почему же они выбрали именно мою кровать? – думала я, направляясь к хозяйственному флигелю и щелкая пальцем по медальону. – Почему?»

И вдруг странная мысль пришла мне в голову. У меня даже голова закружилась от такой мысли. У нас ведь много слуг и крестьян в близкой деревне, которые делают разные дела по дому. Мясник, например. Птичница. Или целая деревня виноделов. Они не живут с нами, но все равно они наши. Когда-то они, то есть их родители были нашей собственностью, а теперь они наши слуги. Все равно наши! Вот они приходят, приносят, уносят, копают, рубят, пилят, строгают... Я представила себе, что пока мы живем в Штефанбурге, пока принимаем гостей или ходим в оперу, пока мы с мадам Антонеску чинно гуляем по фойе, а потом, сидя в ложе, смотрим немножечко сбоку – наша ложа была близко к сцене, – смотрим и слушаем, как среди раскрашенных фанерных декораций красиво умирает Каварадосси, – в это самое время в нашем милом, дорогом доме живут совсем другие люди. Без спросу гуляют по нашим комнатам, едят за нашими столами, сидят в наших креслах и даже спят в наших постелях.

Спят в двух смыслах слова. Я уже знала, что слово «спать» обозначает две вещи: просто спать, положив ручки под щечку, как ребенок, или храпеть, раскинувшись, как дровосек после работы, – или *спать в неприличном смысле*. Ну, вы понимаете, о чем я. И вот мне почему-

то точно показалось, что на наших постелях они спали именно в неприличном смысле. И уж совсем в неприличном смысле (я это точно знала, чувствовала, вернее) спала на моей кровати эта неизвестная златовласка.

Я подошла к хозяйственному флигелю, открыла дверь кухни – там три девицы готовили обед. Одна громко рубила салат, две другие вдвоем ставили двуручную чугунную гусятницу в печь. Я попросила вынести табурет во двор для меня.

Видите, я специально говорю – «я *попросила*».

Будь я маленькая мама, а тем более маленькая бабушка, я б сказала «я приказала» или «я велела», но папа, и дедушка, и мама тоже, когда мне еще было пять лет, долго-долго объясняли мне, что эти люди, которые живут вокруг, работают на нас, прислуживают нам, меняют тарелки, подают на стол, стирают наше белье и все такое прочее, – это уже не наши крепостные, это не наша собственность или, чтоб понятнее было, – они не солдаты, а мы не офицеры. Это свободные земледельцы. Правда, они живут на нашей земле и всецело зависят от наших благодеяний, но сами-то они свободные люди, такие же подданные Его Императорского Величества, и поэтому разговаривать с ними надо вежливо. Надо почаще говорить слова «прошу» и «пожалуйста». Ведь они все равно всё сделают, что ни попросишь.

Итак, я попросила вынести табурет наружу.

Толстая чернявая девица поставила его, ловко уместив ножки между камнями, которыми был вымощен задний двор, подвигала его туда-сюда, убедилась, что он стоит крепко и не шатается, улыбнулась мне, сказала: «Вот так хорошо, барышня?» Я кивнула, и она убежала, а я уселась и стала смотреть во все глаза. Как назло, все пробегающие мимо женщины были темно-волосые. Некоторые шатенки, некоторые темно-русые, а несколько совсем черных, с гладкими блестящими волосами, прямо как крышка рояля. Но я была уверена, что все равно найду эту златокудрую красавицу, и поэтому сидела на табурете около входа в хозяйственный флигель ну просто целыми часами.

На третий день я ее обнаружила.

Смешно, но это была та самая девушка, которую я увидела в первый же раз, едва открыв дверь кухни. Именно она, громко стуча ножом, резала овощи для салата. Но по всем поварским правилам голова ее была укутана в плотный белый платок. А вот вечером она вышла из кухни и остановилась прямо напротив моего табурета, на котором я сидела, заложив пальцем книжку. Девушка рассеянно улыбнулась и слегка поклонилась мне, потом повернулась ко мне спиной, потянулась. Она была стройная. У нее были узкие плечи и не очень большая, но круглая задница, которая была хорошо видна под тонкой холщовой юбкой. Она была в деревянных туфлях с кожаными перепонками и в шерстяных носках. Она потянулась, стала разматывать платок. Конечно, это была она. Золотые волнистые волосы, заплетенные в толстую, не очень тугую косу. Мне захотелось подойти сзади и примерить волос. Но и мерить ничего не надо было – это было видно и так.

– Здравствуй, – сказала я и встала с табурета. Девушка обернулась. – Меня зовут Адальберта-Станислава. А тебя?

– Я знаю, барышня, – ответила она. – А меня зовут Грета. Здравствуйте. Чем могу служить, барышня?

– Ответом на мой вопрос, – сказала я, подойдя к ней вплотную. – Зачем ты спала на моей кровати?

– В смысле? – Она сделала вид, что не поняла.

Хотя я-то знала, что она все прекрасно поняла.

– В неприличном смысле, – объяснила я. – Я не допытываюсь, с кем. Ежели ты не замужем, то это дело твоей совести и чести. Ежели замужем, то пускай тебя муж побьет, когда узнает. Или простит: уж не знаю, как у вас заведено. А ежели ты с мужем это делала, то скажи, зачем на моей кровати?

– Я ничего не делала, барышня, – сказала Грета. – Бог с вами, барышня! Я порядочная девушка, да и на барской кровати, фу!

Она краснела все сильнее и сильнее. Я уже точно видела, что это именно она и есть. Своими оправданиями она уже почти что созналась, и ей оставалось вымолвить последнее слово, которое стало бы окончательным признанием ее вины. И она сказала это слово:

– Барышня, а какие у вас доказательства?

– Доказательства? – захохотала я. Как в опере хохочет Мефистофель, когда Фауст пытается ему возразить. – Доказательства? Ха, ха, ха, ха! Вот они!

Я вытащила из-под блузки медальон, отщелкнула крышечку и извлекла наружу свернутую пружину ее золотого волоса.

– А ну-ка, примерь, Грета! – сказала я, растянув его во всю длину.

Грета потянулась было рукой к этому доказательству, но я, вместо того чтобы отпрянуть, шагнула к ней еще ближе. Поэтому отпрянула она – и даже спрятала руки за спину.

– Конечно, – шептала я, – конечно, моя дорогая Грета, ты можешь вырвать у меня из рук этот волос, бросить его на землю, сказать, что он только что у тебя с головы упал, и затереть ногой, каблуком затоптать в песок. Но мы-то с тобой знаем, что доказательство есть. У нас-то с тобой из памяти это доказательство не вырвешь, не бросишь на землю и не разотрешь подметкой. Ты спала в моей постели, и доказательство есть, вот оно, ты его видишь. Вот я бросаю его наземь, – сказала я и разжала пальцы, и длинная волнистая золотая ниточка, мелькнув, упала на землю и затерялась среди камней, которыми был вымощен задний двор. – А мой папа поверит мне, а не тебе, милая Грета. Ты кухарка, а не горничная, и поэтому не сможешь оправдаться тем, что вот, мол, как будто вытирала пыль у меня в комнате и случайно уронила свой прекрасный, длинный, золотой, – я со вкусом произнесла эти слова, – волос. И вот я думаю, – сказала я, – и вот я думаю, – повторила я, – что пора настала задать тебе вопрос: как тебе твоя совесть подсказывает, что я теперь должна сделать? Махнуть рукой, забыть, как будто ничего не было? Чтоб ты и в следующую зиму спала на моей кровати, спала бы *в неприличном смысле слова* неизвестно с кем? Или все-таки рассказать папе? Уж не знаю, что он решит. Наказать тебя плеткой по заднице он не имеет права – ты же такая же подданная Его Императорского Величества, как и он, как мы все. Но зачем наказывать? Вон дедушка выпорол управляющего еще до Рескрипта о свободе – он имел полное право, – но что хорошего? Что хорошего в порке, я тебя спрашиваю? Ровно ничего!

Я видела, что Грете уже сильно надоели мои рассуждения. Она переминалась с ноги на ногу. Может быть, ее кто-то ждал, может быть, она не верила в серьезность моих намерений. Обычно тот, кто болтает, – ничего не делает.

– Папа просто тебя уволит, – сказала я. – Выгонит со двора. Ты уедешь назад в родную деревню. Хочешь?

Она подняла на меня глаза:

– Барышня, я вам обещаю, что больше такого никогда не повторится. Клянусь вам Богом, клянусь вам Господом нашим и его Пречистой Матерью! Я никогда не войду в вашу комнату. И в другие комнаты тоже.

– Вот и хорошо, – сказала я. – Значит, ты во всем призналась. А то, понимаешь ли, «в каком смысле, где доказательства»? Грешники тоже разные бывают. Одни стоят на своей невинности: «Не делал я этого, хоть убейте!» – врут Богу и людям, но уж зато крепко врут – с вранья не сдвинешь. А другие – бесстыдные и наглые – стоят на своем грехе. Вот он, мол, я какой – подлец и вор, разбойник и горжусь! Тоже интересно, правда? А есть вроде тебя. – Я встала на цыпочки и неизвестно зачем потрогала ей пальцем кончик носа, уперлась пальцем и поводила курносым Гретиным носом туда-сюда. – Сначала «*в каком смысле? Где доказательства?*», а потом «*простите, Христом Богом умоляю!*».

– Барышня, – вдруг совершенно серьезно и совсем другим голосом сказала Грета, – не надо меня выгонять. Я почти что сирота. Одна с больной бабкой. Это мне прокорм и ей тоже. Опять же девушек, которые поварихами в барском доме, в деревне все уважают. Барышня, что я должна сделать, чтобы вы не докладывали вашему папаше?

Ах, конечно же, в первую минуту мне захотелось обнять ее, расцеловать и сказать: «Забудем! Забудем, милая Грета! Я буду хвалить ваши салаты, чтоб папа наградил вас. Я завтра же передам корзиночку сладостей вашей больной бабушке, и вообще я вас люблю». Но я посмотрела на нее и сказала, вернее, повторила ее вопрос:

– Ты спрашиваешь, что ты должна сделать, чтобы я не докладывала папе о твоём возмутительном проступке? Да? Да?! В глаза смотри! Ты это спрашиваешь? Да?!

– Да, – ответила Грета.

– Я подумаю, – сказала я. – Подумаю и тебе скажу. А пока веди себя хорошо.

– Спасибо, барышня.

– Пока не за что, – сказала я. И, указав на табурет, добавила: – Пожалуйста, отнеси на место.

Но вернемся к Энею.

К нашему приезду все приводилось в порядок не только в доме, но и вокруг. К концу марта в наших краях уже начинала пробиваться трава и чуть-чуть зеленели деревья, поэтому садовники и сторожа собирали с земли упавшие за зиму ветки, сгребали остатки осенней листвы, подсыпали дорожки новым гравием, который возили из карьера в восьми верстах, подштукатуривали ворота, чистили решетку, а самое главное, снимали деревянные футляры и соломенные жгуты с прекрасных мраморных Энея и Дидоны.

Поэтому, когда мы въезжали в ворота, возвращаясь из Штефанбурга домой, Дидона и Эней встречали нас своими взглядами. Храбрым, устремленным вдаль, в будущее взглядом – Эней, жалобным взглядом брошенной женщины – Дидона.

Но я прекрасно помню дедушкин рассказ.

Дедушка говорил, что папе тогда было годика два или три и он ничего не помнит. А дедушка тогда был еще молод, бодр, силен и зол – и это последнее обстоятельство имеет немалое значение.

Однажды они возвращались из Штефанбурга (кажется, тогда они снимали там другую квартиру на зиму; даже не квартиру, а целый дом, но это сейчас неважно) – возвращались они из Штефанбурга, и, повернув на прямую аллею, ведущую к воротам, вдруг все хором ахнули: и дедушка, и бабушка (о которой я, впрочем, почти ничего не знала, кроме таких вот словечек «бабушка ахнула», «бабушка согласилась», «бабушке понравилось») и совсем маленький еще папа. Ахнул также кучер и, наверное, все, кто ехал сзади: кучера грузовых карет и слуги.

На правом столбе-постаменте стояла Дидона, а левый был пуст. Энея не было!

Они подъехали.

Дедушка распорядился начать разгрузку, вроде бы не подавая виду, что произошло нечто серьезное. Отвел бабушку в будуар, приказал принести ей легкую закуску (сам дедушка ел очень мало и обычно на ночь, а тогда был день. Дедушка рассказывал, времени было примерно час пополудни), сделал еще кое-какие распоряжения и наконец вызвал дворецкого и велел ему (тогда еще не было имперского рескрипта и крепостным слугам можно было приказывать) – и приказал ему сию же минуту позвать управляющего. Дворецкий сообщил, что это никак невозможно, ибо управляющего в настоящий момент хоронят.

– Вот прямо сейчас? – Дедушка помотал головой.

– Прямо сию минуту идет панихида, – сказал дворецкий.

– Ты хотел сказать «*служат панихиду*», – поправил его дедушка, любивший во всем точность.

– Никак нет, – сказал дворецкий. – Именно что *идет*, а не служат, ибо церковь запрещает отпевать самоубийц.

– За мной, – сказал дедушка.

Они с дворецким вышли на заднее крыльцо.

Дедушка велел подать ему лошадь. Через четверть часа они были в деревне, где гроб с телом управляющего, стоявший на козлах перед входом в его дом, уже совсем было собирались закрыть, чтобы везти на кладбище.

Дедушка подал знак отставить крышку в сторону, подошел к гробу и, заглянув в лицо усопшему, спросил:

– Николай, в чем дело? Что ты с собой натворил?

– Повесился, – ответил брат покойного, который стоял у маленькой группки людей слева от гроба, а дедушка подошел справа.

– Когда? – спросил дедушка.

– Третьего дня.

– Отчего же? – спросил дедушка, обращаясь к покойнику.

– Кувзары, – сказал брат покойного.

– Что кувзары? – переспросил дедушка.

– Украли статую и не отдают, – сказал мужик, уже другой.

– Николай к ним так и сяк, и просил, и денег сулил – не отдают, – сказал третий.

– Ну а вешаться чего ж? – сказал дедушка. – Разве я так уж гневлив?

– А то нет! – загалдели мужики. – Да и стыдно ему стало. Не усмотрел. За хозяина остался, а уважения не снискал.

Кувзары обычно никого не трогали.

Это была довольно большая и богатая деревня (она так и называлась «Кувзарско»), которая была за лесом и рекой, в самом конце нашего имения. За этой деревней дальше опять шел лес, наш лес, а дальше засека и степь, нераспаханная и бугристая, которая уже принадлежала короне, – королевская степь. Или императорская. Там была какая-то разница, но я в ней так и не разобралась. У нас в стране все было то императорское, то королевское, то королевско-императорское, а иногда императорско-королевское.

Когда-то совсем-совсем давно, во времена, когда в этих краях воевал непобедимый генералиссимус, принц Евгений Савойский, когда он со своими гусарами ходил на турок и частенько их бивал, – вот в эту самую пору какой-то фланг армии принца Евгения проходил через наши края, и один эскадрон, в общем, сто гусар – один эскадрон вдруг решил дезертировать. Надоела им эта скачка по степи, три года без привала, надоела им бесприютная мужицкая жизнь, когда на полсотни верст ни одной бабы, не говоря уже о красивой девушке-невесте. Вот и набрели они на эту деревеньку, привязали коней, да и решили пожить там недолго, хорошенько отдохнуть и попить как следует.

А поскольку турки недели через полторы крепко всыпали непобедимому принцу Евгению, то в имперском главном командовании этот батальон записали в безвозвратные потери. А гусары между тем, осмотревшись и обдумавшись, протрезвев от выпитого, поняли, что возвращаться им совсем никак нельзя, потому что ждут их позор и расстрел за дезертирство. Тогда они решили остаться на полном серьезе.

Времена тогда были простые и жестокие, поэтому они вошли в дома со своими саблями, порубали мужиков и детей мужского пола и взяли тамошних женщин себе в жены.

Так они жили уже несколько поколений. А поскольку раньше деревня состояла из оседлых цыган, вернее, из смеси местных мужиков с цыганками, краденными из табора, то и племя получилось такое – крепкое, лихое, чужих не признающее. Ходили они в белых штанах с красными шелковыми кушаками в две ладони шириной, в шапочках с перышком, а их жен-

щины носили звонкие ожерелья из монет разных металлов и размеров. Эскадронный командир назвал себя князем, и дети его тоже стали князьями. Старшие – наследниками. Этот самый князь разделил деревню на четыре конца и внимательно следил за тем, как играют свадьбы, чтобы не допустить кровосмешения.

А в остальном – мужики как мужики. Платили оброк, а чем они занимались, нам – я говорю «нам», имея в виду наше семейство, владельцев этого имения, – нам было без разницы. Ремесло – кажется, кузнечное дело, но кое-кто и виноград выращивал, и делал замечательное кувзарское вино. Слово «кувзар», наверное, от слова «гусар» произошло, мне так кажется.

Ну, вот я сказала: «Мужики как мужики». Но нет, конечно же. Они носили за своими кушаками два, а то и три кинжала, а дорога, шедшая через их деревню, довольно скоро заросла, потому как заезжать в их деревню, да и вообще мимо проезжать было опасно. Или считалось, что опасно, но какая разница. Не ездили.

А вот теперь, как рассказали мужики, столпившиеся у гроба бедного управляющего, кувзары украли статую Энея.

– Кувзары, значит? – переспросил дедушка.

– Кувзары! – заголосили мужики.

– Ну-ка, взяли, – сказал дедушка. – Понесли гроб в церковь.

– Нельзя, – вздохнул, разведя руками, старший брат покойного, тот, который отвечал вместо него на дедушкины вопросы. – Нельзя, ваше превосходительство. Самоубийца. Самоубийцам в церковь не положено и на кладбище не положено по-христиански. Разве вы не знаете?

– Поговори мне тут! – сказал дедушка.

Мужики подняли гроб, пронесли его несколько шагов, но потом, переглянувшись, поставили на телегу; брат покойного взял коня под уздцы.

– В церковь, в церковь едем, – скомандовал ему дедушка.

– Мы просили – поп не согласный, – сказал мужик.

– Ну, ну, – сказал дедушка, доставая из кармана револьвер и с щелчком перекручивая барабан. – Ну, ну, посмотрим.

## IV

Дедушка влез на лошадь, еще раз перещелкнул барабан револьвера, сунул его в наружный карман сюртука, сделал знак дворецкому, и вся процессия двинулась. Впереди ехала телега, на которой стоял гроб с телом самоубийцы-управляющего. За гробом шли вдова, дети и еще какие-то мужики и бабы – родственники, друзья и односельчане, общим числом человек двадцать. Но пока процессия проезжала по улицам деревни, к ней присоединялись другие люди, и поэтому, когда выехали за околицу, народу уже было сотни полторы.

Итак, впереди шел брат покойного – тот самый, который отвечал дедушке за усопшего, – а сзади, в хвосте этой растянувшейся по дороге колонны ехали верхами дедушка и дворецкий.

Церковь была в соседнем селе, не более версты. Собственно говоря, это было одно большое село, извивом расположенное между невысоких холмов. Когда подъехали к церкви, дедушка и дворецкий обогнали процессию и спешили у самой церковной ограды.

Церковь была закрыта, службы не было. Священника дедушка вытащил из-за обеденного стола и приказал ему отслужить панихиду по усопшему рабу божьему Николаю.

Я не помню, говорил или не говорил мне дедушка его фамилию. По-моему, все-таки нет.

Поначалу поп решительно возражал, говоря, что по законам церкви самоубийц не положено ни отпевать, ни хоронить на кладбище. Дедушка сказал:

– Ну что я буду вам объяснять, батюшка? Давайте для краткости будем считать, что убил его я.

Батюшка изумленно посмотрел на него.

– Конечно, я, – сказал дедушка. – Ведь он повесился единственно из страха передо мной, ибо недосмотрел за хозяйством в мое отсутствие и совершил промашку, прямо скажем, непростительную.

– Однако ж, – улыбнувшись, возразил батюшка, – не вы петлю ему на горло накидывали.

– Пошути тут у меня! – сказал дедушка и вытащил из кармана револьвер.

– Видит Бог! – воскликнул священник. – Я подчиняюсь единственно под давлением силы. Ибо я слаб и обременен семьей.

Он это говорил не дедушке, а обращаясь к небу.

Возникла пауза.

– Ну? – спросил через некоторое время дедушка, потому что священник ничего не отвечал. – Так что? Он согласен?

– Кто? – не понял священник.

– А к кому вы, батюшка, адресовались?

Священник помолчал еще, потом перевел взгляд с облаков, которые тихо летели по небосводу, на дедушкино бесстрастное лицо, потом на его револьвер и сказал:

– Несите гроб.

– Несите гроб! – крикнул дедушка, обернувшись назад.

Гроб сняли с телеги и внесли в церковь.

Какая-то девочка, наверное, священникова дочка, открыла ящик со свечками. Люди стали разбирать свечки и становиться вокруг гроба. Священник начал панихиду. Тем временем по дедушкиному приказу молодые мужики уже начали копать могилу на кладбище неподалеку от церкви, куда и опустили гроб на полотенцах после завершения панихиды, прощания и заколачивания крышки. Дедушка рассказал, что он сам забил два гвоздя – первый и последний.

– Почему так? – спросила я.

– Таков обычай наших мест, – сказал дедушка. – Таков он был, сказать точнее. К сожалению. Барин обязан всякого работника проводить в последний путь. Работнику же любимому, верному и доброму надобно в знак особого расположения и милости забить в гроб первый

гвоздь. А уж последний, – сказал дедушка, – это я уж от себя. Мне в самом деле было жалко Николая. Он благородный человек.

– Благородный? – спросила я.

– Ах, деточка, не в том смысле. Конечно, он простой мужик, но поступил благородно, как настоящий рыцарь. Просто как принц Гомбургский, читала?

– Читала, – сказала я, потому что дедушка и правда заставлял меня читать такие книжки, и госпожа Антонеску тоже, а что я не читала сама – она мне пересказывала.

– Да, – сказал дедушка, – столкновение долга и чести. Отчего курфюрст решил казнить принца Гомбургского? Оттого, что долг повелевал принцу во главе своего отряда оставаться в засаде и беречь свежие силы для всякого непредвиденного случая. Но честь повелевала принцу броситься из засады на помощь своим друзьям-рыцарям. Честь не позволяла ему стоять со своим отрядом за холмом и смотреть, как его братья-рыцари гибнут. Он выбрал честь. И потом он опять выбрал честь, не захотел унижительного помилования. Битва между честью и долгом, моя дорогая, – продолжал дедушка, – свойственна только благородным душам. И только самые благородные души выбирают честь и принимают смерть.

– Принца Гомбургского, однако, в итоге не казнили, – уточнила я. – В пьесе курфюрст разрывает смертный приговор на мелкие кусочки. И вообще в жизни он умер глубоким стариком. У него была серебряная нога. Протез.

– В пьесе это типичный «счастливый конец», – сказал дедушка. – А в жизни ему просто повезло.

– А при чем здесь твой управляющий? – спросила я.

– Дело в том, – сказал дедушка, – что про него ходил слух. Он сам был родом из той кувзарской деревни. Проще говоря, он сам был кувзар.

– А разве, – спросила я, – кувзары живут где-то еще, кроме Кувзарско?

– Почти нигде, – сказал дедушка. – Но знаешь ли, никогда не говори «все всегда» и «никто никогда». Непременно найдется одно, два, три исключения. Так и тут. В какой-то семье какой-то мальчишка может тайком, а может, с родительского позволения пошел работать на барский двор, женился на обычной девушке, и обратно ходу нет.

– А мне рассказывали, – сказала я, – что их кувзарский князь никого не выпускает из деревни.

– Ах, да какой это князь? – сказал дедушка. – Атаман, в лучшем случае. А на самом деле что-то вроде старосты. Да и как уследишь, если в деревне почти полтысячи человек живет? Так что вот, после этой истории Николай должен был бы, повинувшись долгу моего слуги и работника, вместе со мною учинить розыск и строго наказать похитителей – тех, кто украл мраморного Энея со столба у ворот. Это долг. Но он же сам был по крови кувзаром, и поступить так было для него невыносимо с точки зрения их родовой кувзарской чести. Поэтому он благородно выбрал смерть.

– Дедушка, – спросила я, – а вообще, что главнее – честь или долг?

– Для нас, – сказал дедушка, – честь главнее долга, главнее денег, главнее любви, а в иных случаях даже главнее правды, но тебе об этом еще рано думать. Впрочем, – сказал дедушка, сам глубоко задумавшись и обойдя три круга вокруг кресла, в котором я сидела с ногами (я помню этот разговор, это было в дедушкиной комнате на втором этаже), – впрочем, – сказал дедушка, – честь это и есть правда, ну, или наоборот. Правда – это и есть честь. В некотором очень высоком смысле. – Он даже поднял руку к потолку и запрокинул голову и поглядел на люстру. – Честно говоря, я и сам, несмотря на свои года, этого еще хорошенько не понял. Но чувствую! – Дедушка улыбнулся. – Вот так-то, дорогая моя Далли. Мне даже интересно, с кем в жизни встретишься ты. Кого больше будет на твоём пути – людей чести, людей долга или, может быть, людей денег? О любви я, к сожалению, не говорю.

– Почему? – спросила я.

– Ах, – сказал он. – Что должен дедушка отвечать на такие вопросы внучке? Вырастешь – поймешь.

Похоронив управляющего, дедушка учинил розыск, точнее, велел его учинить двум расторопным парням из прислуги.

Все произошло именно так, как предполагали. Энея действительно украли кувзары, но самое интересное – зачем. Энея, с головой, разукрашенной золочеными обручами, обнаружили на кладбище кувзарской деревни. Оказалось, что из этой статуи кувзары соорудили памятник на могиле своего старого атамана, который скончался в прошлом году. Ведь памятник ставят на могиле через год, когда земля осядет. И вот теперь наш Эней в железной золоченой короне – какой дурацкий, наверно, был у него вид! – изображал покойного князя-атамана.

Дедушка велел вернуть Энея на место.

То есть он передал кувзарам свое настоятельное требование, выраженное, впрочем, в мягкой форме. Дедушка даже назвал произошедшее недоразумением. Разговор велся, естественно, через этих расторопных парней, одному из которых дедушка вручил большой лист бумаги с надписью «Доверенность на переговоры». Кувзары, однако, возвращать Энея отказались. В форме внешне благородной, но по существу бесстыдной. Нынешний атаман – сын предыдущего – заявил, что не позволит разорять могилу отца. Дедушка, которому было об этом доложено, написал своему посланцу записку для передачи новому атаману. В записке было сказано, что дедушка согласен выдать необходимое количество денег для возведения достойного памятника ушедшему в мир иной бывшему атаману, но что Энея тем не менее следует вернуть на место и снять с него неподобающее украшение. Больше того, дедушка, упомянув в том письме о своем понимании материальных проблем, стоящих перед кувзарской деревней, написал, что берет на себя перевозку и обратную установку статуи.

Однако ответом был отказ, выраженный в еще более дерзкой форме, что-то вроде «разговор окончен». Дедушкин посланец сказал, что встреча была крайне неприятной. Что он был один и без оружия. Его обступили человек пять молодцов в этих шелковых кушаках, за которыми торчали кинжалы один другого больше. Вообще-то кайзер давным-давно запретил простому народу носить оружие, но жандармы с кувзарами не связывались. На все жалобы окрестных крестьян жандармы отнекивались вот какой фразой: «Да ну их! Они странные какие-то!»

То есть жандармы их тоже побаивались.

Но не таков был дедушка.

Дедушка оказался кремень. «Или Эней у меня на воротах, или сами понимаете!» Через неделю дедушка арестовал несколько подвод с кувзарским вином. В ответ кувзары сожгли сеновал в той самой деревне, где жил бедняга управляющий. Дедушкины люди сожгли одну из кувзарских изб. Ночью прискакали на лошадях и закидали крайний дом горящими факелами. В ответ кувзары сожгли нашу конюшню и повесили конюхов. Это уже была настоящая война.

Поэтому в ответ дедушка сжег Кувзарско. Всю деревню. Совсем. На этом месте посадил виноградник. А кладбище оставил. Но потом оно заросло высокой травой.

Мы с дедушкой там гуляли, рассматривали камни, надписи, даты. Последняя дата была одна – тот самый день, когда дедушка послал своих крестьян сжечь кувзарскую деревню и вырезать всех до одного.

Надо сказать, что дедушкины крестьяне выполнили эту ужасную задачу с радостью. И дело было не только во вражде кувзаров со всем окружающим миром, а всего окружающего мира – с кувзарами. Дело было еще и в том, что тут вмешалась память.

Много-много лет назад, пару столетий назад, во времена отважного принца Евгения Савойского, когда беглые гусары и устроили себе такое житье – деревню Кувзарско, они, как я уже говорила, поубивали мужчин и женились на женщинах этой деревни. Но беда в том, что не все мужчины были тогда на месте. Кто-то был в городе, кто-то торговал, кто-то выполнял полугодовую службу у барина и поэтому в тот страшный день не оказался дома. И вот, когда

эти люди (кажется, их было около десятка человек) пытались вернуться в свою деревню – их не пускали. Новые жители, гусары-дезертиры, не пускали. Хотя эти люди возвращались мирно. У них не было убитых жен и детей, потому что все они были в отъезде с семьями, – просто люди хотели вернуться к себе домой. Но их не пустили. Они жили, храня в душе память об этом изгнании, о гибели своих дальних родственников и, наверно, лелеяли мечту о мести. И вот время мести пришло – барин разрешил, барин велел отомстить.

Я не знаю точно, специально ли дедушка назначал исполнителями именно этих людей, наследников тех, кого два века назад выгнали из родной деревни, или просто так сложилось, так получилось, так вышло, – но это уже неважно.

– Ненависть вечна! – сказал дедушка. – Вражда вечна. Земля удивительно тесна, моя милая Далли. На любом клочке земли, где живут люди, непременно кто-то жил раньше. Его изгнали и не дали вернуться.

– Ты убил их всех? – спросила я.

– Не я, – сказал дедушка. – Мои люди. Но по моему приказу, конечно. Я не буду уваливать от ответа. Так что можешь считать, что да, я.

– Всех? – переспросила я.

– Всех, – ответил дедушка. – Вот общая могила для тех, кого не узнали. На кувзарских домах, – объяснил дедушка, – на воротах по старой эскадронной памяти была вырезана фамилия семейства. Наверно, те мои ребята, кто сжег Кувзарско, учиняли предварительный допрос. Не знаю. Но кого-то похоронили в отдельных могилах, с именами и фамилиями, а кого-то в общей.

Я ходила и вслух рассуждала о том, как такое могло получиться.

– Хватит, Далли, хватит! – сказал дедушка. – В таких делах всегда много суматохи. Потом и не разберешь – что, как и почему.

– Всех? – снова спросила я. – И даже... и даже...

Мне это обязательно надо было спросить, хотя я не выговорила слов, но ясно было, что я хотела сказать, – и даже беспомощных стариков, женщин и маленьких детей?

– Да, всех. Они сами себя приговорили, – сказал дедушка. – И своих детей они приговорили тоже. Сами приговорили. К смерти и забвению.

Я почувствовала, что горжусь дедушкой, но и боюсь его.

Потом я все-таки спросила:

– Зачем?

– Я должен был остаться самим собою, – сказал дедушка. – Я должен жить здесь, в этом доме, помещиком, владельцем этой земли, когда-то хозяином, а теперь просто благодетелем крестьян, живущих на моей земле. Короче – я должен быть помещиком, которого уважают и боятся. Да, моя милая, боятся, ибо в основе всех самых священных заповедей лежит страх!

– Боже! – сказала я.

– А ты как думала? – сказал дедушка. – Разве госпожа Антонеску тебе не преподает Библию? Должно быть, плохо преподает. Десять заповедей – это, конечно, прекрасно. Но это еще не все. Книга «Левит» и книга «Второзаконие» – там подробно сказано, что бывает за нарушение заповедей. Не убий, – сказал дедушка, – а то нарвешься на меч. Почитай родителей, а то получишь подзатыльник. Не прелюбодействуй, а то камнями закидают.

Не укради, а то изгонят из стана, и так далее и тому подобное. Ибо, – засмеялся дедушка, – всякая норма состоит из диспозиций и санкций. А если для детей – сначала «как надо себя вести», а потом «что бывает за непослушание». Видишь ли, милая Далли, конечно, легче было бы уступить. Я мог бы заказать в Штефанбурге нового Энея, а к нему уж и новую Дидону заодно, чтобы они были одного цвета и одной потертости. А то получится глуповато – новенький Эней и старенькая Дидона! Что он в ней нашел? – усмехнулся дедушка и продолжал: – Часто бывает проще махнуть рукой. Вернее, кажется, что так проще. Забыть про долги,

которые тебе не отдали, не обращать внимания на слова, сказанные в запальчивости, не слушать сплетен и так далее. Прощать измену жены и подлость друга. И все это кажется очень возвышенным, аристократичным и благородным. Как говорится, *«мы выше этого»*. Возможно, иногда так и надо. Но очень редко. Потому что, посуди сама, спустишься с небес на землю – нового Энея тоже бы украли. Что мне делать прикажешь? Третьего покупать или тратить большие деньги на стражников? Поставить подле ворот будку, посадить в нее инвалида с ружьем? Какое уродство! И какая глупость! Короче говоря, я как-то так почувствовал, что если бы я тогда уступил, плюнул, махнул рукой, *«был выше этого»* – то довольно скоро кувзарский, пардон, князь, атаман то есть, сидел бы в моей гостиной в моем кресле, положив на стол ноги в грязных сапожищах.

Я молчала, пытаюсь это все обдумать и разложить по полочкам в своей голове, которая уже гудела от такого количества рассуждений, пожаров, повешенных конюхов и зарезанных годовалых детишек.

– Я не виноват, – вдруг сказал дедушка. – Я ведь сначала хотел по-хорошему. И я не виноват, что по-хорошему с ними не получилось. Получилось – или они, или я. И я решил, что все-таки пусть буду я. Если бы я оставил хоть одного человека – он бы мне отомстил. Или тебе, после моей смерти.

Дедушка умер, когда мне было десять лет, то есть кувзарскую деревню он сжег совсем давно, когда был еще молодой. Папе тогда было года два или три, я уже говорила. Дедушка, сжигая Кувзарско, был совершенно уверен, что он не только отстаивает высокие принципы аристократической чести, на которую посягнули грязные смерды, но и попросту защищает молодую жену и маленького ребенка. Что это обыкновенная война, а на войне как на войне.

Я никогда не спрашивала у папы про этот случай, про кувзарскую деревню, потому что боялась, что все окажется совсем не так, как рассказывал дедушка. Окажется, например, что кувзары просто мало-помалу бросили свою деревню и разъехались кто куда – кто-то торгует в лавках в Штефанбурге, кому-то повезло устроиться в Будапеште или даже в Вене, а самые смелые и вовсе в Америку уплыли. А что касается могил, то это кто-то что-то напутал. Может быть, там была оспа – от этого даты одинаковые, и общая могила тоже бывает во время эпидемий. Про это уже никто не узнает. Да никому и не интересно.

Дедушка умер летом.

Я помню этот день. Я с мадам Антонеску гуляла в парке. Мы ловили бабочек и пели песенки. Это были не простые песенки. Мадам Антонеску сочиняла их для меня специально, а может быть, брала из какой-нибудь книжки. В этих песенках говорилось, вернее, пелось о муравьях и стрекозах, пчелах и осах, ночных и дневных бабочках. И мы с мадам Антонеску, как две дурочки, носились по лугу с сачками, и когда в песенке шла речь о стрекозе – гонялись за стрекозой, а когда шла речь о бабочке павлиний глаз – пытались поймать павлиний глаз.

Я не случайно сказала «как две дурочки». Иногда мне казалось, что мадам Антонеску несколько запаздывает с моим воспитанием. Она была, по уверению папы, энциклопедически образованной дамой. «Энциклопедически!» – повторял он, поднимая палец и описывая им круг.

Разговор шел в библиотеке. Палец указывал на все полки сразу, и тем самым папа как бы подтверждал, что госпожа Антонеску прочитала и выучила все книги, стоящие в папиных шкафах. А кроме того, я знала, что «энциклопедия» означает «круг знаний».

В самом деле, госпожа Антонеску знала математику, химию, физику, а также французский, английский, немецкий, латинский и греческий языки, историю мировой литературы, историю изящных искусств и историю как таковую, не говоря уже о ботанике и правоведении. По папиному уверению, госпожа Антонеску была одной из первых университетских женщин нашей империи, и мне неслыханно повезло, что именно она согласилась наняться в губер-

нантки в нашу семью. Все так. Госпожа Антонеску действительно могла ответить на любой вопрос. Объяснить, как решается геометрическая задача о кубе, вписанном в пирамиду, вписанную в шар, вспомнить, о чем спорили Карл Смелый и герцог Рене в битве при Нанси, сколько шейных позвонков у мыши, а сколько у жирафа (правильный ответ: и у мыши, и у жирафа по семь), проспрягать греческий глагол «хиэми» во всех временах и наклонениях, декламировать Горация, Корнелия и Генриха фон Клейста, который, кстати, и написал упомянутую дедушкой драму о принце Гомбургском, который – уже не Клейст, а принц – был реальным историческим персонажем с серебряным протезом вместо правой ноги. О том, что Генрих фон Клейст покончил с собой на берегу романтического озера Ванзее на пару со своей возлюбленной, смертельно больной Генриеттой Фогель, госпожа Антонеску мне тоже рассказывала.

От этого моя голова мне самой иногда казалась огромной корзиной, в которую наложили всякую всячину – от дорогого фарфора до поношенных туфель – и перетряхнули хорошенько. Возможно, что-то подобное чувствовала и госпожа Антонеску, потому что больше всего она любила подвижные игры на свежем воздухе, сопровождаемые склонениями и спряжениями, теоремами и хронологией, а также, как в тот июльский полдень, энтомологией, то есть загадками о разного рода бабочках.

Набегавшись, напрыгавшись и наигравшись, мы вернулись в дом.

Там было тихо, как всегда бывает в жаркий июльский полдень. Я крикнула папу. Он отозвался мне сверху, со второго этажа. Я попросила у проходившей мимо девицы лимонаду. Мне принесли на подносе кувшинчик и стакан. Я попросила налить полстакана, сделала служанке замечание, что она не принесла еще стакан для госпожи Антонеску, которая стояла со мною рядом. Госпожа Антонеску сказала:

– Ах, ерунда, ерунда.

– Отчего же ерунда? – сказала я. – Вон вы как запыхались!

Другая девушка принесла еще один стакан. Первая служанка стояла перед нами, держа поднос в руках. Мы с госпожой Антонеску пили лимонад, и тут сверху вдруг спустилась мама, на ходу приказывая дворецкому, который семенил сзади, съездить в деревню и предупредить священника.

Я не видела маму уже лет пять, наверное.

Потом я узнала, что она приехала в тот день совершенно случайно. Ей нужно было что-то забрать из дома.

Не помню что. Вернее, не знаю.

Она, значит, приехала по каким-то своим делам и даже не поинтересовалась, где я.

Мне стало еще жарче, а потом сразу холодно.

Но надо было что-то сказать.

– А где дедушка? – спросила я.

Мама не услышала меня и вместе с дворецким вышла через заднее крыльцо.

– Папа! – крикнула я, подойдя к лестнице. – Папа-а-а-а! Как дедушка себя чувствует?

Потому что дедушка с утра, прямо после завтрака сказал, что у него теснит в груди и слегка болит голова, и поэтому он посидит у себя в кабинете в тишине. Кажется, они с папой что-то собирались сделать. Кажется, собирались куда-то ехать. Но дедушка сказал, что поездка отменяется. Он себя дурно чувствует и хочет после завтрака отдохнуть. «Никогда со мною такого не бывало, – сказал дедушка, потирая грудь и встряхивая головой. – Вот и старость. Да, да, мои дорогие, вот и старость».

Никто мне не отвечал, и я еще раз крикнула:

– Как там дедушка?

Папа спустился на половину лестницы и сказал:

– Дедушка умер.

«Вот и старость, и сразу смерть», – подумала я.

И папа, как будто отвечая моим мыслям, сказал:

– Он умер за одну минуту. Сидел в кресле, схватился за сердце, негромко застонал, и все.

Я заплакала. Папа сошел вниз, погладил меня по голове и сказал, что дедушка совсем не мучился, а значит – у него была хорошая смерть.

Хорошая смерть. Я поняла, что это значит. Умереть одетым, после вкусного завтрака, в красивом кабинете, в удобном кожаном кресле, в светлый июльский день. Кресло стояло лицом к окну. В окне были видны уже начинающие желтеть липы и синее-синее небо с маленькими белыми облаками. И, может быть, если окно было приоткрыто, доносились мои веселые крики с лужайки. Я ловила бабочек и громко кричала, как они называются по-латыни.

Хорошая смерть!

Я бы тоже хотела так.

Да чего уж теперь.

Папа взял меня за руку, и мы втроем – мы с папой, а сзади госпожа Антонеску – вошли в дедушкин кабинет. Дедушка лежал на диване, широком, кожаном, с далекой деревянной спинкой, вдоль которой были выставлены дополнительные подушки. Дедушка лежал в костюме, в том самом утреннем костюме, в котором обычно завтракал. Серые фланелевые штаны со штрипками, бежевые лакированные туфли. Светлый тоже фланелевый пиджак, под которым – ярко-синяя жилетка и белая рубашка. Голова его лежала на маленькой вышитой подушечке. Подушка была хоть и маленькая, но очень толстая, поэтому дедушкин подбородок упирался в воротник и галстук, повязанный просторным бантом. Глаза были закрыты, руки скрещены на груди.

На правой дедушкиной руке на безымянном пальце был большой квадратный перстень с темно-красным сердоликом, на котором были вырезаны две маленькие фигурки. Издалека казалось, что это какая-то буква. Но если присмотреться, видно было, что это мужчина и женщина. Я рассматривала этот перстень много раз. Дедушка объяснял, что это работа знаменитого английского резчика Брауна, который потом служил при дворе русской императрицы Екатерины, а мужчина и женщина – те самые Дидона и Эней, которые украшают наши ворота. Я не знаю, что было раньше – перстень был подобран под ворота или ворота под перстень, – но дедушка говорил мне, что этот перстень должен носить хозяин нашего поместья.

Папа встал на колени в дедушкином изголовье, поцеловал дедушкин лоб, потом поднялся и сказал, обращаясь ко мне, госпоже Антонеску и к моей маме, которая успела подняться по лестнице и сейчас стояла за моей спиной, холодно положив мне руку на плечо:

– Мой отец и господин здешних мест умер, – сказал папа, и странно было слышать его торжественный голос. – Я, его сын, беру этот перстень. – Папа взял дедушку за руку, стащил с его безымянного пальца перстень и торжественно надел на свой палец, – в знак того, что становлюсь на его место – хозяином и господином здешних мест.

Он поправил дедушкину руку.

Мы – сначала я, затем госпожа Антонеску, а потом и мама – по очереди опустились на колени в изголовье дивана и поцеловали холодный, вернее, пока еще не такой холодный дедушкин лоб. Мне показалось, что мама так и не прикоснулась губами к дедушкиному лбу и не встала на колени, а присела на корточки.

Потом, обойдя диван, мы поцеловали папину руку с перстнем – сначала я, потом госпожа Антонеску, а потом мама, только мама целовать руку не стала – она сначала чуть-чуть согнулась, но вдруг раздумала и просто положила на папину руку свою левую ладонь и сказала:

– Ах, что здесь скажешь? Прими мои искренние соболезнования...

Папа потрепал ее по плечу, придвинул к себе, поцеловал в макушку, и тут внизу раздался стук сапог. Пришел человек от священника, пришли столяры обмерять дедушку, пришел повар получать указания насчет большого поминального обеда, пришел еще какой-то парень

с конторской книгой, куда он собирался записать имена соседей, которым надлежало развезти приглашения.

Дедушку отпевали в церкви, единственной в ближней округе, в той, которая была в соседнем селе. Я во все глаза глядела на очень старого священника, который служил, и пыталась угадать, тот ли это поп, которому мой дедушка грозил револьвером много-много лет назад, заставляя отпевать самоубийцу-управляющего. И если да, то что он сейчас думает? Потом мне показалось, что это, скорее всего, другой священник, возможно, сын предыдущего (у нас в деревнях так случалось, младший попович, отучившись в семинарии, заступал место своего отца), – но если так, то он все равно должен был знать эту историю. А если все это была выдумка, то вообще странно...

Мама на отпевании не было.

Она уехала в тот же день, когда приехала, то есть в день дедушкиной смерти. Мы с ней так и не поговорили.

Да, я прекрасно понимала, что она совершенно случайно приехала именно в этот день, что вполне могла приехать днем или неделей раньше или позже, но все равно мне казалось, что она виновата в дедушкиной смерти. Тем более что она не поцеловала мертвого дедушку в лоб. Я отлично видела, что она нагнулась близко-близко, но не коснулась его лба, а изобразила поцелуй, чуть шевельнув губами, будто шепотом сказав что-то. Мне казалось, что она и была его смертью, которая прилетела к нам, за ним. Тем более что она была в черном платье. Папа мне потом говорил, что платье было не черное, а темно-синее, и что мама всегда любила темные тона, и что все это бред и бабкины сказки, и откуда я только набралась этих плебейских суеверий...

Но я все равно в тот же самый вечер, когда она уже уехала, раскрыла свой медальон, выковыряла оттуда мамин портрет и сожгла его на свечке.

Хотя мне было жалко, и вообще, наверное, зря я так. Дочерний долг и все такое. Но тут было что-то вроде чести. Честь нашей семьи, от которой мама отказалась.

В церкви было много народу, но в основном мужики.

Я вертела головой, пытаюсь найти хоть одну даму в пышном траурном платье или хотя бы одного господина в сюртуке. Потом, присмотревшись, я нашла несколько таких фигур – человек десять соседей приехали похоронить дедушку. Меня им представляли, я, наверное, кланялась и скорбно улыбалась – помню шепот госпожи Антонеску за спиной: «Улыбайся, но – скорбно!» – но я их совершенно не запомнила. Как не запомнила и весь поминальный обед, хотя могу представить себе, как он происходил.

Зато прекрасно помню, как закапывали яму.

Я точно помню, что гвозди в дедушкин гроб заколачивали мужики, а папа стоял, скрестив руки и понутив голову. Когда яму засыпали, сверху поставили небольшой деревянный крест, украсили земляной холмик цветами и, по обычаю, еще раз, встав на колени – для этого специально была сделана холстинная подстилка, – поцеловали могильный холм, вернее, цветы, на него положенные, и гурьбой пошли назад, – вот тогда я вдруг подумала – что будет на сладкое?

Потому что в тот день, когда умер дедушка, было воскресенье, и я могла заказать себе сладкое, какое хочу, – у нас было такое правило. Мы с госпожой Антонеску заказали шарики из безе во взбитых сливках, но из-за дедушкиной смерти настоящего обеда не было, и мы просто поели супу, жаркого и к чаю по куску хлеба с медом.

Я подумала: а какое будет сладкое сейчас, когда мы придем домой?

Я ведь знала, что там готовится обед, вернее, два обеда. На заднем дворе из досок быстро сколотили длиннющие столы, и на спешно сложенной открытой печи уже жарились на вертелах

целых три барана. В огромном котле булькало овощное рагу, и была выкачена бочка с вином, и стояли мне по пояс ростом мутные бутылки кое с чем покрепче – это для мужиков. А в столовой сервировался узкий и длинный стол, расставлялись тарелки большие, тарелки маленькие, тарелки хлебные, выставлялись бокалы винные и стопки водочные, раскладывались вынутые из плоских черных коробок серебряные ножи, вилки и ложки, и на кухне пеклось, варилось, жарилось и нарезалось что-то поизысканнее, чем баранина с овощным рагу.

Так что же будет на сладкое?

Интересно, кто-нибудь вспомнит про шарики из безе со взбитыми сливками? А может быть, в честь такого случая приготовят мое самое любимое – желе с орехами на хрустящей тестяной подложке в виде кораблика, который плавает в винном соусе-сиропе? А вдруг?

И подумав об этом, сглотнув слюну и облизнувшись, я вдруг вспомнила про бабушку, как он лежит сейчас в гробу совершенно один, под грудой холодной глинистой земли и кучей увядающих цветов, и как ему там темно и тоскливо, и страшно, и одиноко, потому что я, несмотря на все уговоры госпожи Антонеску, никак не могла поверить в бессмертие души. А уж тем более в такую ерунду, что душа где-то бабочкой летает и на нас на всех смотрит, следит, как мы себя ведем. Ведь умерло людей гораздо больше, чем живет сейчас! Представляете себе, какая была бы толкучка в небе? Разве такое бывает? Но когда мне говорили, что душа человека остается на земле то ли девять, то ли сорок дней, – вот в это я как раз могла поверить, но при этом считала, что эта душа находится прямо в теле и что бабушка то ли сорок, то ли девять дней будет мучиться и тосковать, лежа в тесной холодной могиле, а мы будем есть, пить, спать и даже ловить бабочек. И вот я вспомнила, что бабушка, хотя и умер, но все равно пока душа его еще здесь – он как будто бы живой, но закопан в могилу, а я, которую он так любил и которая его сама так любила, – я больше всех на свете любила бабушку, честное слово! – а я, вместо того чтобы сидеть на его могиле и плакать, я думаю о том, какое сегодня будет сладкое к обеду, и мечтаю об этом, и слюни глотаю, и облизываюсь.

От этого мне стало так стыдно, как никогда не было – ни раньше, ни потом.

## V

Да, после этого случая мне больше никогда не было стыдно.

Вообще, девушки, которые выросли в деревне, неважно – помещицы или крестьянки, – они совсем не стеснительные. Уж во всяком случае в сто раз менее стеснительные, чем городские девицы, которые только за полчаса до свадьбы узнают, откуда берутся дети, когда их мамы – неважно, аристократки или мещанки, – краснея, бледнея, покрываясь мелкими капельками пота и глупо хихикая, начинают им объяснять, что, собственно, должно случиться нынче ночью. И хотя, конечно, почти все эти девицы что-то слышали от старших сестер и подружек, что-то читали во французских романах, а кому повезло, у кого были старшие братья, тайком заглядывали в тщательно завернутые пачечки с маленькими, размером с почтовую марку, неприличными картинками, которые их братья держали в нижнем ящике стола под кипой старых тетрадок по физике, – но все равно обо всем этом они знали как-то туманно, отрывочно и неточно. От этого случались истерики и страшные разочарования.

Мы, деревенские, – другое дело. Я с раннего детства, не задавая ни маме, ни папе, ни госпоже Антонеску никаких вопросов, смотрела и видела, как ведут себя быки и коровы, бараны и овцы, кобели и сучки, петухи и куры. Я видела, как щенится собака, ягнится овца. Для меня тут не было никаких секретов. Я прекрасно знала, что все это совершенно естественно, рано или поздно случится со мной тоже. Правда, у меня не было ни брата, ни сестры, поэтому мне не с кем было вести разного рода уточняющие разговоры.

Так что некоторые вопросы у меня были.

Но я была решительная девочка и решила взять быка за рога. В качестве своей доверительницы я выбрала, ни за что не догадаетесь кого, – я выбрала златовласую Грету. Ту самую, чей волос я нашла у себя в постели. Точнее, в щели между матрасом и кроватьным изголовьем. Я вдруг вспомнила – сейчас даже не помню, что это было за «вдруг», – вдруг вспомнила, как Грета умоляюще сказала мне: «Барышня, что я должна сделать, чтобы вы не рассказали папаше и чтобы он меня не уволил?» Я обещала ей подумать. И вот, кажется, придумала.

Примерно за час до обеда я вышла на задний двор, зашла в кухню и попыталась отыскать Грету, узнать ее среди четырех суетящихся у столов и плит фигур, почти одинаковых – рослых, расторопных, с туго замотанными белыми косынками на головах. Одна из них, разворачиваясь со сковородой в руке, наткнулась на меня, чуть было не выронила сковороду, чуть было не заорала: «Да что ж ты, чертова кукла, под ногами путаешься?» – но быстро пришла в себя, улыбнулась и сказала:

– Ой, барышня, я так перепугалась, чуть было вас не обварила. Что вам угодно, барышня?

– Ты, кажется, не Грета? – спросила я.

– Нет, барышня, я Ева, – ответила она и поставила сковороду на стол.

– Мне Грета нужна, – сказала я.

– Грету повар послал, вернее, барышня, не послал, а с собой взял на базар за овощами.

– Брехня, – сказала я. – Какой базар к чертовой матери? – Я нарочно говорила с ней грубо, как управляющий с мужиками. – Какой, сто тысяч вонючих чертей, базар с овощами, когда все овощи у нас собственные?

– За приправами, я хотела сказать, барышня, – залепетала Ева. – За пряностями.

– Не припомню пряностей за нашим столом! – Я уже не на шутку рассердилась. Проклятые мужики! Норовят если не обмануть, так соврать. – А пряности берут в бакалейной лавке в городе, а не на базаре. Да и где здесь базар? Где тут поблизости базар, я тебя спрашиваю?

Ева захлопала глазами и сказала:

– В лавку, барышня, да, в лавку. Вы все правильно говорите, в бакалейную лавочку. А базар – это я так, по старой памяти. Я же, барышня, городская.

– Прекрати! – закричала я. – Сейчас ты мне начнешь всю свою жизнь рассказывать! Где Грета, я тебя спрашиваю?!

– Уехала с поваром, со старшим поваром, – залопотала Ева. – Старший повар ей сказал: «Со мной поедешь. Поедем на базар». Ой, простите, барышня, то есть в лавочку, то есть в бакалейный магазин. Да я и не должна запоминать-то. Мне же не было приказано запоминать, куда они поехали: хоть в лавочку, хоть куда. Вот если бы был такой приказ, тогда другое дело – все бы в точности запомнила и вам бы, дорогая барышня, в точности доложила. А так, извините меня, дуру деревенскую, хотя на самом-то деле я городская. Я из Андерваруша, хотя по чести сказать, какой это город? Одно название. Хуже деревни. И работы нет. Вот я к вашей милости и перебралась. В теткину семью.

– Все, все! Замолчи! – закричала я. – Все про тебя понятно. Иди. Хватит! – И вежливо прибавила: – Извини, что отвлекла. Отвлекла от работы. Прости меня, милая Ева.

– Ой, что же вы такое говорите, барышня, – захихикала Ева. – Какая вы добрая и ласковая, барышня!

– Все, все, все! – сказала я и выбежала из кухни.

Мне даже понравилось, что Грету с собой забрал повар. Так даже лучше. Осталось узнать, какой повар – у нас их было, кажется, несколько, – ну два, самое маленькое – старших поваров я имею в виду, которые надзирали над кухарками. Так что Грета, когда называла себя поварихой, немножко повышала себя в ранге, что, впрочем, совершенно понятно. Я вспомнила папину фразу: «Любой подпоручик называет себя поручиком. Любой приват-доцент эдак невзначай – профессором!»

Значит, повар.

На следующий день я снова пришла на кухню. Грета была там. Я вызвала ее во двор и спросила, с каким это поваром и куда ездила она вчера то ли на базар, то ли в магазин, то ли в лавочку? Все было точно так, как я и предполагала. Поваров у нас было, кажется, трое – старик Иштван и молодые – сравнительно молодые, лет тридцати или около этого – Иван, кажется, и еще кто-то.

Грета, прямо и честно глядя мне в глаза, рассказала, что они с поваром Иваном ездили в соседний городок «за разными припасами», как она выразилась.

– Что же вы там покупали? – спросила я.

– Оливковое масло, – не сморгнув, отвечала Грета, – а также перец в зернышках, гвоздику и кардамон, корицу в трубочках. Знаете, барышня, такие бывают трубочки корицы? – Я кивнула. – А также сушеный базилик и еще какие-то приправы. Это уже не по моей части, это уже Иван сам выбирал.

– Сколько ж вы корзин всего набрали? – спросила я. – Восемь, шестнадцать или тридцать две?

– Что вы, барышня! Всего одну!

Я замолчала.

Мне вдруг показалось ужасно смешным и нелепым, что нас – господ – после дедушкиной смерти и маминого отъезда осталось всего двое, то есть я и папа. Ну и еще два человека, которым была положена господская пища, – папин камердинер Генрих и моя госпожа Антонеску. И вот для того, чтобы подать на стол четверым людям, в кухне стучат ножами четыре стряпухи, за ними наблюдают три повара, один из которых ездит в другой город за припасами, а кроме этого, у нас есть мясники, зеленщики, птичники, рыбники, пекари, истопники, судомойки. Кажется, я не всех посчитала. В общем, целая куча народу, человек тридцать, а может, пятьдесят, с утра до вечера занимаются тем, что готовят нам завтрак, второй завтрак и обед, поскольку обедаем мы поздно. Ужинов у нас почти что не бывает. Разве какой-то сосед заедет, и папа велит подать

что-нибудь к столу после восьми вечера. Как это на самом деле глупо и отчасти несправедливо! Ведь, наверно, у себя дома эти люди совсем по-другому живут. Одна мамаша готовит завтрак, обед и ужин на всю ораву – человек на десять, а тут получается обратное соотношение – десять человек на одного. Интересно, подумала я, они нас за это не любят, ненавидят, считают белоручками, бездельниками? Или, наоборот, им нравится работать на нашей кухне, потому что, во-первых, это легче, чем в поле, во-вторых, они всегда сыты сами и, наверно, что-то уносят домой, заворачивают кусочки в полотенца и прячут в своих бесконечных юбках, и никто их не обыскивает, разумеется. Дело простое, дело привычное, дело понятное. Не могу представить себе, что случилось бы, если бы мой папа однажды объявил: «Дорогие мои мужики! Я проникся духом учения русского графа Льва Толстого и теперь буду сам, в поте лица своего, варить себе пшеничную кашу, а по воскресеньям жарить курицу, которую ошплет для меня моя дочь Далли. А вы, мужики, ступайте». Что же это такое получается, вернее, могло бы получиться? Сколько человек осталось бы без работы, без хорошей, сытной и нетрудной, по сравнению с пахотой, работы в барском доме, сколько людей осталось бы без заработка, сколько семей без вкусного кусочка? Это же ужас! Это просто мог бы произойти бунт!

Я это, конечно, не сама придумала. Это мне все госпожа Антонеску разъяснила, когда однажды я спросила ее, кто такие социалисты. Но сейчас эта мысль сама пришла ко мне.

Пока я так стояла и думала, Грета ждала, что я скажу дальше. Я очнулась от своих мыслей про социалистов и графа Толстого, посмотрела на Грету – она молчала. Я молчала тоже, потому что мне хотелось, чтобы она заговорила первой. Я молчала, носком туфельки ковыряя камешки, которыми был замощен двор, – вернее, ковыряя камешки, которые угнездились в щелях между большими, горбатыми камнями, а потом счищала пыль с туфельки, запретным образом потирая ее о чулок, то есть об ногу сзади. Когда папа однажды увидел это, он устроил мне форменный скандал. Долго говорил про плебейские замашки. Но мне от этого только сильнее хотелось так делать. «Так делают кадеты! – закричал папа. – Выстроят кадетов на плацу, идет майор, проверяет сапоги, чтобы блестели, а какой-нибудь кадет обязательно вот эдаким манером протирает себе кончики сапог. Фу! – сказал папа. – Фу, фу!» Я не стала возражать папе, хотя, конечно, могла бы. Возражение простое. В кадетский корпус набирают мальчиков из благородных семей, так что, вполне возможно, это был какой-нибудь юный граф, а то и князь.

В общем, я пачкала кончики туфель, потом чистила их и пачкала снова, и молчала, поглядывая на Грету. Грета была, как в тот раз, в широких туфлях и шерстяных носках. Мне захотелось посмотреть, какие у нее пальцы на ногах. Чистые ли у нее ногти? Интересно, второй палец у нее на ноге длиннее большого, как у меня, или короче? На ней были туфли вроде сандалий, кожаные ленты наперекрест, но носки были такие толстые, что ничего не понятно.

Наконец Грета спросила:

– Барышня, я могу идти?

– Ах, да, – сказала я. – Прости, что я тебя задержала, но только ответь. Ежели корзинок было не тридцать две, не шестнадцать и даже не восемь, зачем Иван брал тебя с собой? Неужели у него грыжа? – засмеялась я. – И он не может сам поставить корзину на телегу? – Грета вспыхнула и отвела глаза. – Ну, так зачем же? – спросила я.

– Да просто так, – вдруг дерзко ответила Грета. – Просто так, проветриться, развлечься.

Она размотала свою косынку, тряхнула головой, вытащила откуда-то из-за пояса гребешок, расчесала свои прекрасные золотые волосы, быстро-быстро убрала их в косу и снова закрутила голову белым платком.

– Отлично, – сказала я и снова замолчала.

– Я могу идти на кухню, барышня? – снова спросила Грета.

– Да, да, конечно, – сказала я. – Прости, что отвлекла от работы, но после обеда, вот ровно через полчаса после последнего блюда, жду тебя вот там, – сказала я и показала пальцем на самый конец двора, где росло дерево, а под ним стояла скамья со спинкой. На этой скамье обычно отдыхали работники. – Ровно через полчаса после последнего блюда, ты поняла? Но не после подачи последнего блюда, а вот именно после того, как унесут посуду после последнего блюда. У тебя есть часы?

– Я поняла вас, барышня, – сказала Грета. – У меня нет часов.

– Одолжить? – спросила я, отстегивая часовую цепочку от блузы.

– Не надо, барышня, – сказала Грета и повернула свою руку ладонью ко мне. – Не надо.

– До встречи, – сказала я.

Ну что ж, пусть немножечко помучается. Пусть подумает-погадает, зачем барышня пригласила ее на разговор. Я повернулась и побежала в дом, не оглядываясь, не глядя на нее. Но закрыв дверь, потом чуть-чуть ее приоткрыла и посмотрела в щелочку. Во дворе уже никого не было. Из кухни доносился стук ножей. Ну и правильно. Обед был через целых два часа.

А после того, как унесли последнее блюдо, им, кстати говоря, оказались маленькие сметанные ватрушки с вишневым вареньем (еда простецкая, но вкуснейшая, как сказал папа), после того, как папа пошел к себе в кабинет отдохнуть, а его камердинер пошел за ним следом, чтобы помочь ему снять обеденный сюртук и облачиться в халат, после того, как госпожа Антонеску быстренько проверила у меня французский язык, а я, отвечая ей выученное наизусть стихотворение, все косилась на часы (но я справилась за двадцать минут – прочитать стихотворение и разобрать грамматические формы, а также подобрать синонимы к разным существительным, прилагательным и глаголам), – через двадцать минут я была уже свободна, сбегала к себе в комнату, сполоснула рот над умывальником, провела мокрой ладонью по лицу, а также, расстегнув блузку, мокрым полотенцем протерла у себя под мышками, подергала расстегнутую блузку так, чтобы получился маленький ветер, застегнулась, побрызгалась духами – и на всякий случай, даже сама не знаю, на какой случай, взяла из угла стек.

Напевая и приплясывая, спустилась по лестнице вниз и вышла через заднюю дверь. Поглядела на часы – полчаса еще не прошло, но Грета, я увидела, уже сидела на этой работницкой скамейке. Там сидело человек шесть или семь, я издали не могла сосчитать, сколько в точности их там было, но Грету по золотым волосам я узнала сразу. Она пристроилась с краешку. Когда я подошла ближе, то увидела, что на скамейке сидят, наверное, печники и трубочисты. У них были свернутые в кольцо веревки и цепочки, гири, узкие лопатки, а также мастерки и зубильца. Наверное, они ждали, когда после обеда остынет печь, чтобы заняться своим делом – почистить дымоходы и, может быть, заменить один-другой расколовшийся кирпич.

Ближе к Грете сидел молодой совсем парень. Он довольно нахально на нее косился, и еще минута – он заговорил бы с ней.

Но тут подошла я, встала напротив.

– Нам надо поговорить, – громко сказала я, обращаясь неизвестно к кому.

Трубочисты-печники сразу зашевелились и загудели: «Ну, мы сейчас! Ну, мы пошли! Ну, мы мешать не станем».

– Ни в коем случае, – сказала я. – Сидите, друзья. Простите, что обеспокоила. Нам с девушкой надо поговорить. Пойдемте, – сказала я Грете.

Мы вышли со двора.

Пошли по дороге, которая постепенно переставала быть мощеной, становясь сначала гравийной, потом и просто утоптанной, земляной, с двумя колеями, между которыми росла трава и иногда виднелись ромашки. Я сорвала одну ромашку, понюхала ее – она, как положено ромашке, ничем не пахла. Я расстегнула вторую пуговицу на блузке и засунула цветок в петельку.

– Грета, – сказала я. – Ты прекрасно помнишь, что ты натворила прошлой зимой.

– Да, барышня.

– Ты прекрасно знаешь, что тебе за то может сильно влететь.

– Ведь это было зимой, – сказала Грета. – Ведь вы говорили со мной месяц назад или даже полтора месяца назад.

Я засмеялась:

– Ах, Грета, если б ты была не Грета, а Генрих, и не крестьянка, а благородная, я бы посоветовала тебе поступать на юридический факультет.

Грета, конечно, ничего не поняла и только повторила:

– Ведь это же было так давно!

– Срок давности по твоему проступку еще не наступил, – засмеялась я. – Ну да все это глупые шутки, впрочем. Помнишь, ты сказала мне: *«Барышня, я не хочу, чтобы меня уволили. Барышня, место на кухне мне очень нужно. Барышня, не говорите папаше»* и, наконец, *«Барышня, что я должна сделать, чтобы вы не сказали папаше, чтобы меня не выгнали?»* Было такое, нет?

– Было, – кивнула Грета. – Я так говорила.

– Значит, – сказала я, – значит, так. Ты должна кое-что сделать.

Мне вдруг показалось, что Грета очень испугалась. Она слегка покраснела и закусила губу. Интересно, о чем она подумала? Я молчала.

– Что я должна сделать, барышня? – спросила она.

– Присядем, – сказала я и указала на поваленное дерево в десяти шагах от дороги.

Был уже вечер, хотя совсем светло. Солнце клонилось к закату, но закат был совсем не скоро. Было недели две до Иванова дня.

– Тебе не жарко в таких толстых носках? – спросила я Грету. – Ну, впрочем, ерунда. Не в том дело. Ты, как я знаю, не замужем.

– Нет, то есть да, – сказала она. – В смысле, да, я не замужем.

– Я так и думала, – сказала я. – А скажи, повар Иван, тот, кому ты помогала таскать корзину с кардамоном и прочими пряностями, ну, с которым вы просто так проветриться поехали. Он что, твой, как это у вас выражаются, «парень»? Вы с ним, как это у вас выражаются, «ходите»?

– Я не обязана отвечать на такие вопросы, барышня, – сказала Грета.

– Конечно, не обязана, – рассмеялась я. – Но ты же попросила меня не ябедничать папе, вот и выбирай.

– Что я должна сделать, барышня? – повторила Грета.

– А впрочем, мне это неважно, – рассмеялась я. – Парень – не парень, ходите – не ходите, какое мне, в сущности, дело до твоих любовных увлечений...

– Зачем вы смеетесь, барышня? – спросила Грета.

– Так, – сказала я. – Сама не знаю. Так вот, дорогая Грета, мне все равно, соблюла ты невинность до брака или нет, с кем ты здесь, как у вас выражаются, гуляешь. Не соблюла, и ладно. Двадцатый век на дворе, верно?

– Что? – не поняла Грета.

– Двадцатый век, говорю, – повторила я. – Одна тысяча девятьсот десятый год.

– Чего вы от меня хотите, барышня? – в который раз взмолилась бедная Грета.

Я придвинулась к ней поближе, рукой подняла толстую золотистую прядь, свесившуюся на ухо, и прошептала, чего я от нее хочу. Грета стала совсем красная.

– А как это сделать? – тоже шепотом спросила она. – Нет, это вообще невозможно! Это же просто ужасно! Я не смогу.

– Ага, – сказала я громко. – Значит, спать в неприличном смысле слова на моей кровати ты смогла, а показать мне, как это делается, не можешь?

– Ну как я это сделаю? – спросила она. – Даже если стыд отбросить, как?

– Да проще некуда, – ответила я. – Ведь ты со своим Иваном, ну или не знаю, с каким-нибудь Петром, Игнатом, Максом, Шандором – встречаешься? И уж, конечно, не у него дома? И небось не у себя? Где-нибудь, наверно, на сеновале или в столярной мастерской. Да что я тебе все объясняю – тебе же лучше знать! Вот и спрячь меня там. За стенкой или на чердаке, а потом приходи со своим парнем, а я буду подглядывать.

– Вам не стыдно, барышня? – спросила Грета.

– Мне никогда ничего не стыдно, – сказала я. – К сожалению. Но так уж вышло. Не знаю, кто виноват. Может, я сама виновата, может – черт, а может – Господь Бог. Как ты думаешь, Грета, черт действует с разрешения Господа Бога?

– Нет, конечно, – сказала Грета, немножко сбита с толку.

– А как же тогда? – спросила я. – Ведь Бог всемогущ и всеведущ!

– Наверное, когда Бог отворачивается, – сказала Грета.

– Сказано же тебе! – воскликнула я и хлопнула стеклом по ее левой ноге. – Бог всеведущ, то есть он все ведаёт, все знает, поняла?! До крупиночки, до травиночки. Сказано же в Священном Писании, – я подняла палец, – ни один волос не упадет с вашей головы без Божьего соизволения. Как же он в таком случае за чертом недосмотрел? Как же он черту позволяет безобразничать?

– Не знаю, барышня, – сказала Грета.

– И я не знаю, – сказала я. – В общем, тебе дана неделя.

Я встала с бревна, сшибла стеклом две ромашковые головки, прошла через траву на дорогу и пошла к дому.

– Барышня! – вдруг раздалось сзади. Грета нагоняла меня. Лицо у нее было злое, красное, но отчасти ехидное. – Барышня, а вот и ошибка в расчетах ваших!

– Слушаю тебя, – холодно отозвалась я.

– А ежели я сделаю, что вы меня просите, то получится, что теперь вы в моих руках будете. Вот возьму и нажалуюсь вашему папаше, что вы меня попросили о таком похабстве.

– Жалуйся, жалуйся, – сказала я. – Жалуйся, бедная Грета. Прямо сейчас, пошли!

Я взяла ее за рукав и потащила за собой. Она сделала несколько шагов и потом остановилась.

– Пошли, пошли, – дергала я ее за руку. – Папа как раз, вот буквально минут через десять встанет от послеобеденного отдыха, и я ему доложу, что повариха Грета, как, кстати, твоя фамилия?

– Мюллер, – сказала она. – Мы из немцев.

– Так и так, доложу я папе. Повариха Грета Мюллер, видишь, я тебя в чине подняла. Ты же не повариха, а кухарка, но ничего. Так даже серьезней будет. Грета, скажу, Мюллер, повариха, имеет до тебя, папочка, важный секретный разговор. Что-то очень срочно хочет сообщить, ты же согласишься принять ее и подробнейшим образом выслушать.

Я дергала ее за рукав и повторяла:

– Идем, идем! Вот точно так доложу – можешь из-под двери подслушать. Вот точно такими словами. А ты папе все в точных подробностях расскажи, какое похабство я от тебя требовала.

– Барышня, – Грета чуть не плакала, – вы ведь добрая и хорошая. Ну что вы ко мне привязались? Ну что вам от меня надо?

Она вдруг обняла меня за плечи и прижала к себе.

Гретины объятия были прекрасны. Меня, если честно, уже лет семь никто не обнимал, после того как мама развелась с папой и уехала из имения, а я осталась жить с папой и бабушкой, «потому что ребенку так будет гораздо лучше». Но я уже почти забыла, как меня обнимала мама, и мне казалось, что она обнимала меня довольно редко. Может быть, один раз в день. А

так как в некоторые дни ее не было дома (они с папой уезжали куда-то), то получается, что и того реже. Четыре раза в неделю, то есть двести раз в год. То есть можно в точности подсчитать, сколько раз меня обнимали, потому что госпожа Антонеску меня не обнимала совсем, да ей это и не положено было. Папа меня только гладил по голове и редко-редко по плечу, и все. А у дедушки я в детстве сидела на коленях, когда он мне показывал книжки с картинками, и он, конечно, приобнимал меня одной рукой, но именно что приобнимал, просто придерживал.

Поэтому я задохнулась от счастья, когда Грета меня крепко обняла, когда я почувствовала, как за моей спиной сплелись ее сильные горячие руки, и я невольно уткнулась носом куда-то между ее шеей и ключицей. Я слышала, как бьется ее сердце. Чувствовала, как торчит ее грудь и вжимается в мою. Она меня гладила и говорила: «Барышня! Добрая, милая, хорошая! Милая, добрая, милая, ласковая барышня!» А я таяла, как кусочек масла на теплом куске свежее выпеченного серого хлеба. Таяла и впитывалась, и мне казалось, что пообнимает она меня так еще минуту-две, и я совсем в нее впитаюсь. Стану ей как дочка или младшая сестра, служанка или рабыня. И мне очень этого хотелось, но я знала, что этого делать нельзя. Это был тот самый поединок, о котором говорил дедушка. Наверное, что-то похожее делалось в душе у бедного самоубийцы Николая-управляющего, у принца Гомбургского или у японских самураев – о них мне тоже рассказывал дедушка, когда я сидела у него на коленях и рассматривала книжку с картинками, где были узкоглазые мужчины с женскими прическами и шпильками в волосах, длинными кинжалами вспарывающие себе животы. У меня даже в животе заболело, как у японского самурая, который делает харакири, который уже умер, хотя вокруг него еще теплая, упругая, сочная жизнь – как руки Греты.

Поэтому я резко выдралась из ее объятий и повторила:

– Тебе дана неделя сроку. Вызовешь меня через любую из горничных.

Это оказалось почти так, как я и думала. Разве что с небольшими уточнениями. Я думала, что это будет как у всей прочей живности. Я была совершенно уверена, что Грета станет на четвереньки, а повар (это, кстати, оказался тот самый повар Иван) – а повар заберется на нее сзади, как баран на овцу. Но нет, она лежала на спине и высоко задирала ноги, согнув их в коленках и разведя в разные стороны, и даже держала себя за коленки, чтоб ему было удобнее. Носки она так и не сняла, так что я не смогла рассмотреть, какие у нее пальцы на ногах. В общем, совсем неинтересно. Мне показалось, что я просто поставила галочку в конторской книге. Я видела, как наш управляющий, беседуя сначала с дедушкой, а потом с папой, кивает и ставит галочки после каких-то строчек, где много цифр и сокращенных непонятных слов.

Перед отъездом мне надо было еще как следует попрощаться с госпожой Антонеску. Папа сообщил ей о расчете, а я – я об этом, кажется, уже говорила – предложила ей пожить зиму в нашем имении просто так, на всем готовом. Сделать себе такие полугодовые каникулы. Но она отказалась. И, конечно, не только потому, что у нее был роман с Генрихом – папиным камердинером. Наверное, кстати говоря, это был не роман в полном смысле слова.

Так иногда сходятся одинокие люди. Я читала книжки про путешествия, про ученых, которые по несколько лет жили на безлюдных островах, наблюдая перелеты птиц. Я уверена, что, если б там жили мужчина и женщина, совершенно чужие друг другу, разного происхождения и воспитания и, может быть, даже совсем неподходящих возрастов, все равно у них начался бы какой-то, если так можно выразиться, роман. То есть они бы сошлись от одиночества и безлюдья. Хотя, конечно, и Генрих мог завести себе симпатию среди деревенских девчонок или среди горничных. И госпожа Антонеску могла на время связаться с каким-нибудь более-менее солидным человеком, вроде того же управляющего или его помощника. Но тем не менее получилось так, как получилось. Может быть, для Генриха, который был полудворянин, и для госпожи Антонеску, которая совершенно точно была благородной дамой, – для них горничные и деревенские девчонки, управляющие, счетоводы были кем-то вроде перелетных птиц или морских черепах для ученых-путешественников, живших на безлюдном острове.

Мне хотелось попроситься с госпожой Антонеску как следует, поблагодарить за уроки, за игры, вообще за все, что она для меня делала. Хотя она, конечно, делала это за деньги и, как иногда замечал папа, скопила себе неплохой капитал – она жила на всем готовом, и одежда тоже была от хозяев, – но все равно, может быть, другая гувернантка была бы гораздо хуже. А госпожа Антонеску была веселая, беззаботная всезнайка. И она все-таки умудрилась выучить меня основам точных и естественных наук, а также двум иностранным и одному мертвому языку, истории и литературе. И все это как бы вприпрыжку, напевая, играя и резвясь.

Я долго искала в голове слова, чтобы поблагодарить госпожу Антонеску, сказать ей что-то важное и красивое.

Сначала я хотела приготовить свою речь на четырех языках – на родном, на немецком и на французском, а завершить это дело чеканной латынью, может быть, даже сочинить несколько гекзаметров. Посоветовалась с папой. Он сказал, что, во-первых, это надо говорить не вслух, а написать на красивом листе бумаги, чтобы потом отдать госпоже Антонеску, а во-вторых, это будет красиво, но холодно до бесчеловечности.

– Лучше коротко и своими словами, – сказал папа. – Если ты, конечно, ее на самом деле любишь и на самом деле ей благодарна.

– Конечно, на самом деле! Конечно, на самом! – закричала я и чуть не подпрыгнула на месте. – Ведь госпожа Антонеску почти целых девять лет была мне, как... ну просто как мать!

У папы глаза остановились.

– Странное сравнение, – сказал он.

– Ничего странного. – Я уперлась кулаками себе в бока.

– Плебейские жесты, – сказал папа и двумя указательными пальцами сбросил мои руки с боков. – Что за мужицкие манеры – руки в боки?

– А может быть, мама на самом деле родила меня от плебея? – прошипела я. – От того самого инженера? Или вообще не знаю от кого? И не таскай меня к зеркалу! У половины жителей нашей империи носы с уступчиком вниз.

У папы из глаз вдруг полились слезы.

– Я любил эту женщину, – сказал он – и она любила меня. И от этой любви родился прекраснейший в мире ребенок. Родилась ты – моя Далли. А потом вмешалась, вмешался, вмешались... – Папа как будто бы точно не знал, кто вмешался – судьба, черт или злые люди.

– Неважно, кто вмешался, – сказала я. – Важно, что с пяти лет единственной старшей женщиной в моей жизни была госпожа Антонеску. А единственная старшая женщина, единственная и самая главная – знаешь, как называется.

– А тебе никогда не бывает жалко свою настоящую мать? – спросил папа.

– А ей никогда не бывало жалко меня? – спросила я. – Странная мода – бросать мужа и ребенка. Знать бы – ради чего. Ну сейчас-то хоть скажи мне – ради чего?!

– Не знаю, – сказал папа. – Клянусь тебе, не знаю. Все, что я мог бы сказать, – сплошные домыслы и предположения, помноженные на немножко сплетен. Не знаю, ничего не понимаю. Она женщина с фантазиями – вот что я скажу тебе.

– Но, может быть, поделишься со мной своими домыслами, – сказала я, отойдя от него на два шага, потому что я видела, что он кипит, как чайник, забытый на плите, что вся вода из него уже выкипела и чайник вот-вот распаяется. Я вдруг испугалась, что папа вскочит, закричит и даже ударит меня. – Ну давай! – сказала я. – Домыслы, соображения, сплетни!

Но он вздохнул:

– В другой раз. А госпоже Антонеску просто скажи, просто скажи, скажи что-нибудь. И вообще, – вдруг папа зло заулыбался, – благодарности – это пустое. Благодарным можно быть всей своей жизнью. А если здесь и сейчас, то просто скажи спасибо. А если чувствуешь, что «спасибо» мало, дай денег или подарок подари, который можно превратить в деньги. Вот, пожалуйста, – сказал папа, – коли уж речь зашла. – Он отвернулся к комоду, долго шелкал

замками (замки пели и звенели) и вытащил кожаную коробочку, раскрыл у меня перед носом. Там был перстень с большим изумрудом. – Вот, – сказал он, – если ты и в самом деле считаешь госпожу Антонеску матерью, ну или «она тебе была ну просто как мать» – неважно. Вот это кольцо я подарил твоей маме, когда тебе исполнилось два года. В честь события, так сказать. Когда мы расставались, она кинула его мне в лицо. Извини за выражение, в морду. Подари его госпоже Антонеску.

– Хорошо. – Я вырвала коробочку из папиных рук и, не давая ему опомниться, побежала к себе. Там выпила стакан воды (у меня на туалетном столике всегда стоял графин с водой, в которой плавал ломтик лимона) и пошла к госпоже Антонеску.

Госпожа Антонеску стояла около бюро и, очевидно, складывала свои бумаги. Раскрытый чемодан для бумаг, такой как будто бы втрое увеличенный портфель, стоял на полу.

– Госпожа Антонеску, – сказала я. Она обернулась. – Давайте прощаться.

У меня даже голос задрожал. Госпожа Антонеску подошла ко мне, протянула мне руку. Я переложила коробочку из правой руки в левую, ответила на ее рукопожатие...

– Стася, – сказала она, – я должна повиниться перед тобой. Ты чудесная девочка, умная и добрая. А я, наверное, предательница. Я шпионила за тобой. – Она криво улыбнулась. – Ну, скажем так, в хорошем смысле слова. Я описывала каждый твой день и посылала письма твоей маме. Не за деньги, а просто так. Она меня просила.

## VI

– Вы думаете, шпионить без денег – это благороднее? – спросила я.

– Не знаю, – сказала она.

– Мама точно вас попросила об этом?

– Да, разумеется. Мне самой никогда бы не пришла в голову такая мысль. И ведь это довольно трудное, долгое и хлопотное дело – описывать каждый наш день, а потом посылать на почту, всякий раз договариваясь с кем-нибудь из слуг.

– Вы прямо каждый день посылали? – спросила я.

– Нет, конечно, – сказала госпожа Антонеску. – Раз в десять дней примерно. В месяц выходило три раза. Поэтому письма были длинные. В городе было легче. В городе я могла сама бросить письмо в почтовый ящик.

– Вы знаете адрес? – спросила я.

– Знаю, – сказала госпожа Антонеску. – Но все равно я писала на почтамт, до востребования.

– Черт знает что! – сказала я, сжимая в руке кожаную коробочку с изумрудным перстнем. – Просто целый английский роман про сыщиков. В нашем доме! Кто-то шпионит за мной и описывает мои дни! Что я говорю, с кем я говорю, о чем я говорю...

Тут я на минуточку запнулась и представила себе, что вдруг госпожа Антонеску выследила мои разговоры с Гретой и, покуда я подглядывала за Гретой и Иваном, она сама подглядывала за нами троими.

Ну нет, это невозможно. Это уже полный абсурд.

Но все равно! Как я засыпаю, как я просыпаюсь, в какие игры играю, какие получаю отметки и вообще все такое – это все записывается узеньким почерком госпожи Антонеску на длинные листочки, а потом то ли дворник, то ли повар, то ли уж не знаю кто едет в уездный город и бросает письмо в почтовый ящик. Да, письмо до востребования. Но ведь там написано, для кого!

Я повернулась к госпоже Антонеску и повторила громко и сердито:

– Просто настоящий роман про сыщиков! Получается, все кругом знали, а одна я – наивное дитя? Выходит, все наши мужики знали, что вы пишете доносы моей матери?

– Никто ничего не знал, – сказала госпожа Антонеску.

– Как же-с! – возмутилась я. – Ведь на конверте-то была фамилия?

– Нет, – сказала госпожа Антонеску. – На конверте было написано «Предъявителю банковского билета номер такой-то».

– Какой ужас! – сказала я. – Вам самой не странно было играть в эту игру? Вами могла заинтересоваться полиция. Это очень похоже на шпионский шифр.

Я говорила что-то еще, пыталась изобразить обиду и при этом быть язвительной и остроумной, но чувствовала, что говорю что-то не то. На самом деле я ни капельки не была оскорблена тем, что госпожа Антонеску следила за мной столько лет и сообщала об этом моей маме. Наоборот, у меня просто камень с души свалился, когда я узнала, что, оказывается, мама, пускай глазами госпожи Антонеску, смотрела на меня все это время.

– Вы мне скажете ее адрес? – спросила я.

– Нет, – сказала госпожа Антонеску.

– Почему?

– Она не велела.

– Скажите мне, пожалуйста, ее адрес! Мне это очень нужно! Я хочу посмотреть, хотя бы издалека. Я не буду к ней приставать, честное слово! Я просто подойду к дому и буду незаметно

прохаживаться перед парадной дверью. А если там напротив есть кофейня, я сяду за столик, надвину шляпку на лоб, и меня никто не узнает. И она тоже. Ну пожалуйста!

– Нет, – сказала госпожа Антонеску. – Я дала ей честное слово.

– Вот, – сказала я. Разжала кулак, открыла кожаную коробочку и сунула госпоже Антонеску под нос кольцо с изумрудом. Оно было очень красивое. Я его только тогда подробно рассмотрела и увидела, что вокруг изумруда вделаны маленькие бриллиантики. Солнце как раз заглянуло в комнату и провело своим лучом по моей ладони. Кольцо вспыхнуло чернолиловым и зеленым цветом. – Вот, – повторила я. – Это вам. Какой адрес?

– Я же тебе сказала, – повторяла госпожа Антонеску. – Я дала ей честное слово, понимаешь? Слово чести.

– А вы разве дворянка? – спросила я.

– А честь бывает только у дворян? – возразила госпожа Антонеску.

– Извините, – сказала я.

Встала на цыпочки, потому что госпожа Антонеску была выше меня на целую голову. Встала на цыпочки, обняла рукой ее шею, чуть-чуть подпрыгнула и поцеловала ее в щеку.

– Боже мой, Стася! – отшатнулась госпожа Антонеску.

Раскрытая коробочка выскользнула у меня из руки и упала на пол. Перстень выскочил, два раза прыгнул по дощатому полу – в комнате госпожи Антонеску не было фигурного паркета – и укатился под комод.

Госпожа Антонеску, поддернув юбку, опустила на колени и стала искать перстень под комодом. Я тоже села на пол. Госпожа Антонеску нагнулась и рукой выгребла из-под комода несколько свалявшихся ключев пыли, тесно исписанный листок бумаги, пустой спичечный коробок, ореховую скорлупку и перстень. Она устроилась на полу рядом со мной, указала на перстень. Я взяла его, обдула от пыли и надела себе на большой палец левой руки.

– Вы на меня не сердитесь, госпожа Антонеску? – спросила я.

– Сержусь, – ответила она. – Но не за твои дворянские глупости, как ты, наверно, подумала. Что за нежности, Стася? Что за поцелуи?

– Я больше не буду, госпожа Антонеску, – сказала я. – Простите. Я как-то растерялась.

Госпожа Антонеску молча чистила себе рукав от пыли.

– А все-таки жалко, что слуг нельзя пороть, – сказала я. – С каким удовольствием я бы лично выпорола лентяйку Эллу. Ну вот что это такое? – Я посмотрела на сизые валики пыли, которые госпожа Антонеску вытащила из-под комода.

Я потянулась и взяла исписанный листок с пола.

– Нельзя, – Антонеску вырвала его у меня из пальцев.

– Почему?

– Это чужое письмо, – сказала госпожа Антонеску. – Ты же дворянка, аристократка! Дочь двух знатнейших фамилий – фон Мерзебург и Тальницки! Где же твоя тысячелетняя дворянская честь?

– Госпожа Антонеску, – сказала я, – вы увольняетесь и поэтому так развоевались?

Госпожа Антонеску неожиданно выпрямилась, сидя на полу, и с размаху дала мне подзатыльник. Первый раз за всю мою жизнь меня ударили. Я даже не поняла, что произошло. У меня зубы состукнулись и прищемился язык. Было больно, так что слезы полились из глаз, но я справилась с собой и спросила:

– Это за поцелуй, да? То есть мы квиты?

Госпожа Антонеску заплакала тоже.

Увидев, как она плачет, я заплакала по-настоящему, в три ручья и во весь голос. Так громко, что, наверное, папа услышал. Я почувствовала его шаги в коридоре (у него особенный был шаг, не как у всех), я почувствовала, что он подошел к двери с той стороны, но потом

развернулся и пошагал назад. Не знаю, почему госпожа Антонеску плакала. Впрочем, и я тоже не знала, почему я плачу, – ну не потому же, что мне дали подзатыльник?

Мы долго сидели рядышком и плакали. Потом солнце ушло, поплясав напоследок на потолке, и наши слезы стали высыхать.

– Конечно, это ваше письмо, – сказала я. – Но ведь про меня, да? Это вы про меня писали маме, поэтому это мое письмо тоже. Я ничего не понимаю, но мне хочется посмотреть, что вы про меня писали. И почему не отправили? Почему вы его не отправили? – спросила я. – Почему, почему, почему?!

– Я писала очень много, – сказала госпожа Антонеску, – каждый вечер, а иногда еще днем, после обеда, во время отдыха. Вот на таких листочках. – Она показала мне листок изда-лека, не давая прочитать, что там написано. – Писала стоя, вот здесь. – Она показала наверх, потому что мы сидели с ней на полу. Да, да, на верхней крышке комода было устроено что-то вроде письменного стола. Там стояли свечка, чернильница, стакан с карандашами и перьями и отдельно подставка для золоченого самопишущего пера, которым пользовалась госпожа Антонеску. – Листочков было много, – повторяла она. – Ведь я писала не сплошную повесть, а просто наблюдения, вроде дневников. Взгляды на тебя. Потом складывала их в конверт и отправляла. Вот один, наверное, свалился за комод, а я даже не заметила.

– Дайте, пожалуйста, посмотреть, – попросила я.

Госпожа Антонеску слабо улыбнулась, пожалала плечами и протянула мне листок. Я вскочила, подбежала к окну и стала читать.

Это было ужасно.

Госпожа Антонеску прилежно описывала, как она раздевает меня перед сном, какие у меня прыщи на животе и волосы в подмышках, как она заставляет меня мыть ноги, как стрижет мне ногти на ногах, распарив их в теплой медной ванночке. Описывала, как я сижу на горшке, вернее, уже на ведерке.

Когда мне исполнилось двенадцать, госпожа Антонеску принесла мне взрослое ведерко. Ах, ну что я вам буду рассказывать! Вы прекрасно знаете, как устроена эта штука, вроде стула с короткой спинкой на четырех толстых ножках, с подставленным снизу ведерком, которое своей горловиной смотрело в дырку в сиденье. У этой дырки были жесткие края, они немножко резали ягодицы – никакого сравнения с большим круглым детским фаянсовым горшком. Между дыркой и горловиной ведра было расстояние в полдвойма, чтобы удобно было надеть на ведро плотную крышку. А плотная крышка нужна была, чтобы не было запаха. Хотя туда заранее наливали жавелевую воду. Что тот, что другой запах мне не нравился, поэтому я просила, чтобы ведерко выносили сразу. И еще я просила папу, чтобы он наконец приказал оборудовать в нашем доме отдельную туалетную комнату – я видела такую у соседей. Гораздо удобнее, чем держать горшок у себя под кроватью или это проклятое ведерко в углу. Гораздо современнее и комфортабельнее! А папа говорил: «Да, да, конечно», – и дело тем кончалось.

Так что этот листок был целиком посвящен моему ночному туалету – мытье ног, шеи и подмышек, чистка зубов и сходить по всем делам.

– Зачем вы все это писали, госпожа Антонеску? – спросила я.

– Ведь твоя мама все равно бы это видела, – сказала госпожа Антонеску.

– Не уверена, – сказала я. – Все это делала бы горничная. Никто, кстати, не велел вам, госпожа Антонеску, – я немножечко разлилась, – заниматься моим туалетом! Это должна делать горничная, повторяю. А гувернантка, и тем более мама, графиня фон Мерзебург, совершенно не обязана наблюдать, как ее четырнадцатилетняя дочь моет ноги и справляет нужду.

– Но твоя мама, – напомнила госпожа Антонеску, – просила, чтобы я описывала все. Она скучала по тебе, мне кажется. Ты помнишь, сколько тебе было лет, когда вы расстались?

– Да, – сказала я. – Пять с половиной.

– Вот видишь, – кивнула госпожа Антонеску. – Она не налюбовалась тобой, не наигралась с тобой, не наобнималась, не надышалась твоим запахом.

– Она вообще не любила меня обнимать, – сказала я. – Я это помню совершенно точно. Зачем же теперь?

– Не знаю, – сказала госпожа Антонеску. – Она просила, вот и все.

– А вы любите детей, госпожа Антонеску? – спросила я.

– Люблю, – сказала госпожа Антонеску. – Жареных с картошкой и вареных со стручками молодой фасоли.

Я засмеялась, госпожа Антонеску засмеялась тоже.

У нее была такая привычка – прекращать серьезный разговор шуткой. Иногда даже рискованной шуткой, когда разговор становился слишком серьезным, как сейчас. Но наш разговор еще не был окончен.

Я шагнула к ней и опустилась рядом с ней на пол, потому что она все еще продолжала сидеть около комода, вытирая слезы.

– Значит, не скажете? – сказала я.

– Стася, – спросила госпожа Антонеску, – разве ты не знаешь, что в любом городе, тем более в Штефанбурге, есть адресный стол?

– А вы уверены, что мама живет под своей фамилией?

– Тебе прямо все вот вынь да положи! – сказала госпожа Антонеску. – Ты же умная и самостоятельная девица!

– Хорошенькое дело, – сказала я. – Вот чего стоят ваши честные слова. Просто продиктовать адрес нельзя, а сказать «пойди в адресный стол и узнай сама» – можно.

Какая разница, хотела бы я знать? Госпожа Антонеску, а вы никогда не были замужем?

– Ты еще спроси, – сказала госпожа Антонеску, – есть ли у меня дети? Но я отвечаю: да, разумеется, замужем я была и в некотором смысле остаюсь. Я разошлась с мужем, но официально не оформила развод. Поэтому, кстати, ты меня зовешь «госпожа Антонеску», а не «барышня». Многие гувернантки до седых волос остаются барышнями, мадемуазель или мисс, а я вполне себе мадам или миссис. – Она засмеялась. – И насчет детей тоже полный порядок. У меня есть ребенок. Один. Девочка. Четырнадцать лет. Но давай на этом закончим разговор. Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы.

– Но подарок вам сделать я имею право? – спросила я.

– А я имею право твой подарок не принять? – вопросом на вопрос ответила госпожа Антонеску.

– Нет! – закричала я, переходя на «ты». – Не имеешь! Если ты и есть моя мама, так носи свое кольцо!

Я схватила ее руку, разогнула ее кулак и стала силой натаскивать перстень ей на безымянный палец.

– Ты с ума сошла, Стася? – сказала госпожа Антонеску, все же позволяя мне надеть на нее кольцо.

– Наверное, – сказала я. – Мы тут все сумасшедшие, кроме дедушки, царствие небесное, который мог вытащить револьвер и мозги вышибить из какого-нибудь кувзара, в случае чего. А мы все выродки какие-то, дегенераты. То есть сумасшедшие, вы правильно сказали, госпожа Антонеску.

Мы поднялись с пола, помогая друг другу.

Я видела, что госпожа Антонеску хочет меня обнять, погладить, хоть как-то приглубить после этого ужасного разговора, и мне хотелось того же самого, но мы не прикоснулись друг к другу.

Я оглядела госпожу Антонеску с головы до ног. Кольцо сидело на ее пальце. «Ну вот и хорошо», – подумала я и вышла из комнаты.

За дверью было уже темно. Солнце ушло на другую сторону дома, и круглое окошечко в конце коридора давало совсем мало света. Я побежала по коридору. Я вообще чаще бегала, чем ходила обычным шагом. Побежала по коридору и у самого спуска на первый этаж налетела на папу. Так сильно налетела, что чуть не сбросила его с лестницы. Он ухватился за перила, сделал несколько шагов вниз, едва удерживаясь на ногах, и сказал мне:

– Далли, что с тобой?

– Я прощалась с госпожой Антонеску, – сказала я. – Передала ей твой подарок. Она приняла с благодарностью.

– Какой подарок? – спросил папа.

– Кольцо, – сказала я.

– Какое кольцо?

– Ты что?! – чуть не закричала я. – То самое мамино кольцо, большой изумруд с бриллиантами, которое она при расставании кинула тебе в лицо, в морду, как ты сам изящно выразился, и которое ты мне велел передать госпоже Антонеску, коль скоро я считаю, что она столько лет заменяла мне родную мать.

– Что за бред? – воскликнул папа. – Далли, у тебя жар?

– Это у тебя жар, – сказала я. – Или ты просто лжец.

– Как ты смеешь? – сказал папа и поднялся по лестнице, намереваясь пройти в комнату госпожи Антонеску.

Я вцепилась в его сюртук.

– Смею! – закричала я. – Я очень даже смею! А вот ты не смей туда ходить!

Папа сверкнул глазами (я даже в полутьме это увидела) и рукой отбросил меня так, что я впечаталась спиной в стену. Он посмотрел на меня с гневом и насмешкой, потом хмыкнул и направился к двери госпожи Антонеску, которая была в дальнем конце коридора.

– Стой! – заорала я.

Папа на ходу обернулся.

Я сунула руку под блузку и выдернула из-под пояса, который держал мои чулочки, маленький короткоствольный револьвер марки «Велодог».

Это был специальный револьвер, *дамский велосипедный*, придуманный для того, чтобы отстреливаться от собак. Я купила его в прошлом году в Штефанбурге и, если думала, что вдруг может наступить решительный случай, брала его с собой и носила под блузкой. Иногда смеялась над собою сама – ну, где этот твой решительный случай?

Папа вздрогнул и остановился.

Я увидела, что он испугался.

– Назад! – сказала я. – Пойдем назад.

Он хмыкнул, пожал плечами, пожевал губами – я это видела, потому что всматривалась в его лицо в полумраке, – потом махнул рукой и пошел вниз по лестнице. Я спрятала свой велодог на место под блузку и пошла за ним следом. Мы прошли через первый этаж, сели в столовой.

Мне вдруг страшно захотелось есть.

– Прикажи принести чего-нибудь закусить, – сказала я.

Папа посмотрел на часы.

– Обед через сорок минут, – сказал он. – Не боишься, что аппетит перебьешь?

– Ерунда.

Папа подошел к буфету, открыл дверцу. Колокольчика в буфете не было, или он не мог его найти. Папа достал большой бокал и бокал поменьше и стал ими звенеть. Он звенел так,

наверное, целую минуту. У меня уже уши лопались, я уже хотела ему крикнуть: «Хватит!» Но тут в дверях показался папин камердинер Генрих.

– Чего-нибудь поесть для барышни, – сказал папа.

– Что барышня изволит? – спросил Генрих.

– Только чтобы не готовить, – сказала я. – Кусок хлеба с ветчиной и воды попить. Чтобы быстро. Чтобы прямо сейчас.

Я уселась на стул и принялась ждать, положила руки перед собой.

Я видела, что папа хочет мне что-то сказать. На его лице мелькали самые разные варианты. От «ты хоть понимаешь, что подняла руку на своего отца?» до «как все это забавно, в сущности!». Он так и не решил, что выбрать, но сказать что-то было надо. И поэтому он задал самый естественный вопрос:

– Откуда у тебя эта штучка?

– Купила, – сказала я. – Прошлой зимой.

– Разве детям продают оружие?

– А госпожа Антонеску на что? – засмеялась я.

– Опасный человек твоя госпожа Антонеску, – сказал папа. – Как выяснилось.

– Выяснилось кое-что еще, – сказала я. – Но я пока помолчу. Но не это главное.

– Что же главное? – нервно спросил папа.

– Главное вот что. Если эта штучка, – сказала я и погладила себя по животу, где под блузкой был спрятан револьвер, – если эта штучка вдруг пропадет или исчезнет – то я тебя убью.

– А если ты сама ее потеряешь? – спросил папа довольно-таки растерянно.

– Ах, папочка! – сказала я. – Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Если я ее потеряю в парке или на улице или в театре невзначай уроню в трубу клозета, ты просто купишь мне новый револьвер. Точно такой же или еще лучше. Позолоченный. С перламутровыми инкрустациями на рукоятке. А вот если эта штучка у меня внезапно пропадет из того места, где я ее прячу, вот тут-то, – вздохнула я, – тебе и конец!

– Отравишь? Или ночью войдешь ко мне в спальню и воткнешь иголку в сердце?

– Я подумаю, – сказала я. – Но долго размышлять не буду, обещаю.

– Ну и что же мне теперь делать? – спросил папа.

Меж тем слуга принес на подносе большой кусок хлеба с толстым ломтем ветчины и, как я люблю и как они уже привыкли мне подавать, – стакан воды с кружочком лимона.

– Благодарю вас, – сказала я.

Слуга поставил тарелку и стакан передо мной и спросил:

– Позвольте я нарежу на кусочки? А то это мужичье с кухни – вон какой шмат отхватили!

– Не беспокойтесь, благодарю вас, – сказала я, взяла бутерброд двумя руками и вцепилась в него зубами, отгрызла большой кусок и стала жевать, наслаждаясь чудесной мякотью свежего хлеба и чуть-чуть дымным ароматом ветчины.

Слуга вышел, прикрыв за собой дверь.

Я жевала, а папа смотрел на меня очень пристально. Но потом повторил свой вопрос:

– Так что же мне делать?

– Два выхода, – сказала я, прожевав. – Первый. Позвать мужиков, чтобы они меня связали, и отправить в лечебницу для душевнобольных. Ну, или в тюрьму для малолетних преступников. Впрочем, преступление я пока не совершила, так что в лечебницу будет проще, да и честнее. Выход второй, самый простой, умный и хороший – примириться с действительностью, как говорил философ Гегель. Принять действительность такой, какова она есть.

– Что ты имеешь в виду под действительностью? – спросил папа.

– Себя, – ответила я. – Действительность – это я. Можешь звать меня по-немецки – Frau Wirklichkeit <sup>3</sup>.

– Fräulein <sup>4</sup>, – поправил меня папа.

– Да, да, конечно, папочка.

К обеду госпожа Антонеску вышла в новом наряде.

Не так, как одеваются гувернантки. А – как настоящие дамы. Какие-то мелкие детали, вроде тройной цепочки для часов, высокого пояса, по-другому убранного воротника – все это преобразило ее, превратило из служанки, пускай служанки и высшего ранга (известно же, что гувернантка и дворецкий стоят как бы на полпути между слугами и господами), – но все-таки из служанки – в самую настоящую госпожу, в барыню. Пускай даже в мешанку, подумала я, придирчиво оглядев ее, но все-таки в барыню. На ее правой руке был тоненький золотой браслет, которого я раньше не видела, а на левой руке, на безымянном пальце – тот самый перстень. Во время обеда мы с ней никак друг к другу не обращались. И вообще, кажется, не разговаривали.

Это был наш последний обед в имении в эту осень.

Назавтра мы, как и было сказано, уезжали. Вещи были уложены. Папино кресло упаковано. Все распоряжения по дому уже отданы. Правда, я еще не решила насчет своей горничной. Кто это будет – какая-то неизвестная мне девица из Штефанбурга или все-таки золотоволосая Грета? Но если брать с собой Грету, значит, надо справиться у папы, кого он берет поваром. Нельзя же разлучать любящие сердца, ха-ха!

Я спросила. Папа, разумеется, сказал, что не помнит. Я настаивала. Он позвал своего камердинера, потом дворецкого, потом управляющего имением – что было уж совсем зря. Еще минут пятнадцать беготни, и наконец дворецкий сообщил, что повар пришел предстать пред моими светлыми очами.

– Я не просила пред светлыми очами, – буркнула я. – Я просила только имя, только имя, вы поняли? Но раз уж пришел, пусть входит. – Вошел мужчина лет тридцати с небольшим. Ничего общего с Иваном, с тем Гретиным поваром, насколько я его тогда запомнила. Но я на всякий случай спросила:

– Как вас звать?

– Влад, – ответил он. – Владислав, ваше сиятельство.

– Отлично, Владислав, – сказала я. – Но не «сиятельство», а просто «барышня».

Надо было что-то сказать, потому что глупо и невежливо звать человека просто для того, чтобы спросить, как его зовут.

– Дорогой Влад, – сказала я. – Вот эти замечательные ватрушки с вишневым вареньем, они такие вкусные... Вы их печете?

– Нет, барышня, – ответил он. – Вообще-то не я, Иван печет, но ежели пожелаете, могу.

– Прекрасно, – сказала я. – Надеюсь, в Штефанбурге вы меня ими побалуете.

– Непременно-с.

– Благодарю вас. Ступайте, – сказала я и побежала к папе и сообщила ему, что горничную для меня мы будем искать в Штефанбурге.

– А что, – спросил папа, – был какой-то другой вариант?

– Ого! – сказала я. – Еще какой! Был сумасшедший вариант! Страшно подумать!

Папа так и не понял, о чем я. Вот и хорошо.

Папин камердинер учился в Париже. Госпожа Антонеску тоже. Дедушка подолгу жила в Берлине и Вене. Папа, вы не поверите, даже ездил в Америку, то есть плавал туда на пароходе, и жил два месяца в городе Нью-Йорке. А вот я, представьте себе, не была нигде, кроме Ште-

---

<sup>3</sup> Госпожа Реальность (нем.).

<sup>4</sup> Барышня (нем.).

фанбурга. Даже в уездном городе не была ни разу – когда мы проезжали сквозь него и останавливались на полчаса купить каких-нибудь сладостей и фруктовой воды, я не выходила из кареты. Но Штефанбург был городом, который стоил всех городов вместе взятых. Хотя был не самым большим, не самым знаменитым и даже много лет уже не столичным.

Город состоял из трех частей – низкой, высокой и островной. Хох, Нидер и Инзель – как звали их по-немецки.

Говорят, вернее, пишут, что еще в пятом веке один из полководцев, пришедших в Европу вместе с Атилией, отбившись от этого страшного потока лавы, который катился из Азии и божией милостью был остановлен доблестными Аэцием и Теодорихом, – вот этот безымянный полководец, этот, так сказать, гуннский генерал – наверное, предвидя катастрофу на Каталунских полях, – немного приотстал, сменил курс и повел свою армию лесами. Они долго плутали, пока не вышли вдруг к огромной реке, которая растекалась на два рукава, обнимавших длинный зеленый остров. Они шли по равнине и увидели на другой стороне высокий гористый берег. Они разбили лагерь на острове, да так и остались там жить, потихонечку осваивая сначала высокий берег, а там и низкий.

Оказалось, впрочем, что варвары не первыми пришли на то место. Оказалось, что на высокой горе стояла хижина, где жила дюжина монахов во главе со своим игуменом – неким Стефаном, которого лет через двести Римская церковь признала святым – именно за то, что эти кочевники сначала долго его мучили, а потом спустили с горы в реку. Он переломал себе все кости и скончался, наверное, еще пока катился вниз по камням. Но эти жестокие люди вдобавок утопили его в неглубокой прибрежной воде, а потом надругались над его трупом. Какая в точности казнь постигла остальных монахов, в летописях не было сказано. Известно лишь было, что их тоже убили.

Но через некоторое время эти дикие вояки приняли христианство. В память святого Стефана они воздвигли сначала часовню, а потом небольшой каменный храм, который постепенно оказался в центре укрепленного городка, стоявшего на вершине горы. Каковой городок и стал называться Штефанбург, а потом это имя перешло и на весь город, на его низкую и островную части.

## VII

В город мы въезжали с севера. С нижней части.

Когда въезжаешь в Штефанбург со стороны степи, то сначала просто кажется, что деревни попадаются все чаще и чаще. Потом они будто прислоняются друг к другу, соединяются краями, лишь изредка разделяемые кусками леса или вспаханного поля. А дальше уже вдоль дороги сплошь идут маленькие дома с красными крышами и низкими кирпичными заборчиками. Потом среди них вдруг начинают попадаться двухэтажные особнячки – вернее, даже не особнячки в городском смысле слова, а просто более богатые, красивые и уютные домики, и уж потом, после моста через длинную и узкую воду – я так и не знаю, что это: излучина большой реки, маленькая речка или что-то вроде озера, – после моста через эту полоску воды начинаются уже настоящие особняки, солидные дома то с колоннами, то со стрельчатыми окнами в готическом стиле, а то с изогнутыми линиями на фронтонах с изображением ирисов и прочих томных цветов по нынешней моде. И вот здесь гравийная дорога превращается в мощеную, начинает чуть-чуть потряхивать, но зато копыта стучат весело и празднично.

Обычно это было не слишком раннее утро, а то и вовсе полдень, когда мы въезжали в Штефанбург, предварительно два раза остановившись на ночлег. Первый раз на выезде из уездного города, а второй раз буквально в пятидесяти верстах от Штефанбурга в старинной деревенской гостинице, про которую папа рассказывал, что там останавливались его предки в те поры, когда нижняя часть города была еще совсем маленькая и вся жизнь была в районе Инзель и в районе Хох.

Госпожа Антонеску мне потом объяснила, что это, должно быть, было веке в шестнадцатом, а то и раньше, потому что, когда мы с ней гуляли по улицам, она всякий раз показывала мне на какой-нибудь собор или небольшую церковку, на старинную аптеку или такой же старинный отель, где на фронтонах иногда римскими цифрами, а иногда арабскими была выложена дата и получалось, что уже в конце шестнадцатого века в районе Нидер кипела жизнь. А если папа говорит, что жизнь была только за рекой, значит, его предок останавливался в той самой гостинице не позднее середины шестнадцатого века.

Мне казалось, что госпожа Антонеску рассказывает это с тайной иронией, специально для того, чтобы я – умная девочка, ее усилиями сведущая в истории и математике, – разобралась бы и подсчитала, что тут к чему. Тем более что папа в рассказах о своих предках не залезал далее Наполеоновских войн. Не исключено, кстати, что первый Тальницки получил свое дворянство именно из рук Бонапарта и уже потом в дворянском чине, уже после Битвы народов, пошел служить кайзеру. Да и кладбище, где похоронили дедушку, со всей очевидностью говорило о невеликой древности нашего рода. Не дальше прапрадедушки, того самого капитана Тальницки, который получил имение, где мы жили.

Впрочем, когда я попыталась выяснить что-то у папы, он с радостной улыбкой, за которой, впрочем, крылось некоторое беспокойство, выложил передо мной на стол целую кипу грамот и аттестатов и разноцветных, заверенных печатью родословных дерев, а также книг, заранее заложенных на нужном месте. Из этой кучи документов явствовало, что славный род Тальницки принимал активное участие в европейской истории. Во всех походах, осадах и штурмах, дворцовых переворотах и формированиях кабинетов наша фамилия нет-нет да и мелькала. Самое же раннее ее упоминание было в хронике Хуберта Тиссонского, где некий Гуго Тальницки назывался в числе людей, сопровождавших Генриха Четвертого в его знаменитом стоянии у папского замка в Каноссе, где император, одетый в рубище и посыпав главу пеплом, на коленях стоял у ворот замка, в котором квартировал насмерть на него разобидевшийся папа Григорий Седьмой, Гильдебранд. То есть дело происходило аж в одиннадцатом веке.

«Правда, – рассказывал мне папа, – судя по этой хронике и по счетам из гостиницы, император Генрих вовсе не круглые сутки стоял на коленях у папского замка. Он, скорее, “стоял” в этой гостинице, то есть был на постое. Свидетельством тому были счета на мясо и вино.

Но раз в день он снимал свои доспехи, надевал холщовое рубище, рубаху, проще говоря, а может, вообще мешок с тремя дырками, брал немного заранее заготовленного пепла с небольшими головешками – ему подавали этот пепел на серебряной тарелочке, полагаю, – смеялся папа, – нагребали из камина и подавали, и не исключено, что мой предок и подавал, поскольку числился в ближайших спутниках императора. Видишь, видишь? Понимаешь?» – и папа, положив руку мне на затылок, совал мне раскрытую книгу под нос, и я чувствовала, что он хочет, как выражаются мужики, носом меня ткнуть в эту книгу, в эту строчку. Я жмурилась, мигала, смотрела на тесный готический шрифт. Буквы сплетались и разъезжались, я никак не могла углядеть фамилию Тальницки, но на всякий случай говорила, что да, да, да! «Папочка, конечно, я вижу, я понимаю!»

Папа успокаивался, переводил дыхание, продолжал рассказывать, снова в своем привычном юмористическом тоне, как император Генрих, брезгливо прижмурившись, опрокидывал себе на голову эту серебряную тарелку с пеплом и головешками, протягивал ноги (сначала левую, потом правую) своим прислужникам – они с него стягивали сапоги, подавали ему суковатый нищенский посох, и он, осторожно ступая, стараясь не уколоть босые ноги о камешки и щепочки, выходил из гостиницы, окруженный толпой стражников и зевак, пересекал площадь, подходил к папскому замку, который был прямо напротив, в двух сотнях метров, и там, опираясь на посох, опускался на колени, шипя от того, что камни, которыми был мощен двор, больно врезались в колени, и стоял так, наверное, минут пятнадцать или полчаса, ну самое большое час, думая при этом, какая гнусная это штука политика и что, будь у него хоть на тысячу-другую солдат больше, он бы разделался с Гильдебрандом еще на Вормсском рейхстаге. Просто порубил бы в капусту его охрану, а потом через полгода в Риме избрали бы нового, правильного папу. Но у него не было лишней тысячи солдат, и поэтому, театрально крикнув папе по-латыни «Пошел вон!», он, собственно, и должен был ограничиться этим красивым, но опасным жестом. И вот теперь такое, значит, занудство.

«Но, – продолжал мой папа, – думаю, что и Гильдебранд, он же папа Григорий Седьмой, глядя из-за тяжелой коленкоровой занавески через маленькую щелочку на эту комедию, которая уже третий день разыгрывалась на площади перед замком, тоже с тоской думал: “Ах, было бы у меня лишних пять, четыре, ну хотя бы две тысячи ратников, я бы сжег этого негодяя на костре сразу после Синода в Риме, где я его так красиво отлучил от церкви. Но сил у меня уже не было. Вернее, силы были, их было очень много, но, на беду, ровно столько же, сколько у Генриха”».

Я знала, что папа, то есть не мой папа, а папа Гильдебранд в конце концов простил Генриха и вернул ему корону. Точнее, благословение носить корону императора. Дальше папа – теперь уже мой папа – начинал туманно рассуждать, кто из них кого переиграл – папа императора или, наоборот, император папу. По папе выходило, что все-таки Генрих, а я, наверное, из чувства противоречия, считала, что Гильдебранд. Тем более что по-итальянски его фамилия звучала так красиво – Альдобрандески. Я знала одну девицу с похожей фамилией – Альдемарески. Но я ей не завидовала, потому что она была мещанка. Она была одна из тех, кто помогал нам устраиваться в Штефанбурге. Семейство Альдемарески владело отелем напротив нашего дома.

Но я отвлеклась, да и папа отвлекся. В разговорах об обстоятельствах «хождения в Каноссу» куда-то проваливался и исчезал наш первый предок. Тем более что в хронике Хуберта Тиссонского он, как я усмотрела среди готических букв, значился все же не как Тальницки, а как Талмитц или Далмиц. Dalmicius. Но папа уверял меня, что это он и есть.

Так вот, въезжали мы около полудня.

Для этого в последней гостинице, последней на нашем пути, я имею в виду, нам надо было подняться довольно рано. Впрочем, по деревенской привычке мы вставали не позднее семи с половиной, а летом и того раньше. Мы рано вставали, завтракали, поглощая чудесные гостиничные булочки с яйцом и луком, напивались кофе с молоком. Папа выкуривал папиросу, после чего хлопал себя по коленям (а в этой гостинице мы демократичнейшим образом завтракали в одной комнате, но за тремя разными столами: мы с папой, госпожа Антонеску и камердинер Генрих за одним столом, четверо слуг за другим и кучера за третьим), – папа хлопал себя по коленям и говорил: «Ну с Богом! В путь!» – и мы все выходили из комнаты вот таким порядком: сначала кучера, потом слуги (они открывали дверцы двум каретам – нашей с папой и карете, где ехали Генрих с госпожой Антонеску), потом выходили мы вчетвером, но сначала госпожа Антонеску и Генрих. Генрих подсаживал на подножку кареты папу, а госпожа Антонеску меня, слуги закрывали дверцы и помогали усесться Генриху и госпоже Антонеску, а после бежали в свою карету, в свой возок, точнее говоря, и только тогда главный кучер, управлявший нашей каретой, издавал губами тот поразительный кучерской звук – нечто среднее между свистом и чмоканьем, что-то даже похожее на поцелуй, как его изображают в итальянском комическом театре (мы это видели с госпожой Антонеску. Там какой-нибудь Труффальдино, подойдя к Коломбине, нагнувшись к ее ручке, отставив задницу, а свободной рукой подметая шляпой пол, вытягивал губы трубочкой над ее пальчиками и делал длинный свистящий чмок).

Кучер чмокал, остальные кучера тоже, и наш поезд медленно трогался, мягко постукивая копытами и колесами по сухой осенней дороге.

Итак, в полдень мы переезжали мост через эту безымянную для меня воду. Мы въезжали с гравийной дороги на мощеную, и еще через полчаса, наверное, я замечала, что особнячки становятся все больше. И вот это уже не особнячки, а трех-, а потом уже и четырехэтажные многоквартирные дома. Дома становились все больше, все роскошнее, с пузатыми колоннами вокруг окон, с лепными женщинами, театральными масками, львами и драконами на стенах, с балконами, на которых стояли кадки с уже завядшими цветами, а внизу, в первых этажах домов все чаще и чаще попадались большие зеркальные витрины, где были выставлены костюмы и платья, зонты и шляпы, саквояжи и туфли. Или россыпи фруктов, сделанных из воска, расписные окорока и колбасы из папье-маше, фигура повара в колпаке с большим ножом в одной руке и рыбой в другой. Я прекрасно его помню. Когда я была маленькая, я требовала остановить карету, чтобы посмотреть на этого «дядю с рыбкой», как я кричала тогда. Это было, когда мне было пять лет, последний год, когда мама еще жила с папой. Десять лет прошло, ну, почти десять, а этот «дядя с рыбкой» все такой же и ни чуточки не облутился. Наверное, его подкрашивают время от времени. А дальше шли вывески банков и нотариальных контор, таблички частных врачей и адвокатов, появлялись пестрые полосатые, а иногда цветастые занавески-маркизы, затенявшие столики уличных кафе, за которыми сидели последние посетители. Почему последние? Потому что октябрь, еще недели две – и эти «маркизы» свернут, а летние столики и ажурные кресла унесут в сарай. Но пока что солнце светило. Последнее солнце осени. В наших краях до конца октября было тепло. Вполне тепло, настолько тепло, что мы с госпожой Антонеску, бывало, успевали посидеть два-три раза в уличном кафе, съесть по вазочке мороженого, и горло ни капельки не болело, потому что было градусов двадцать, самое маленькое. Не летняя жара, но и не промозглая осень. До промозглой осени было еще месяца полтора.

Наш поезд катился по улице, которая из фешенебельного пригородного шоссе превращалась в одну из главных улиц нижней части Штефанбурга. Она называлась Альтвег, то есть старая дорога. Но самую главную улицу – Линденаллее – еще предстояло пересечь. Она шла вдоль реки, отступив от набережной на два квартала. Параллельно той улице, по которой мы

ехали, шли еще две роскошные улицы, которые спорили с Линденаллее за звание главной, потому что на одной – на Кенигштрассе – была, как вы, наверное, уже поняли, Старая Королевская канцелярия. А на другой, под названием Клостерштрассе, был кафедральный собор. Но не Святого Стефана – маленькая и очень древняя церковь Святого Стефана стояла на горе напротив, я уже говорила, – а Святого Иоанна Евангелиста. Не путать с Крестителем.

Мы подъезжали к перекрестку. Экипажей становилось все больше. Попадались автомобили. Нашим кучерам приходилось внимательно следить, чтобы какая-нибудь коляска или пролетка не вклинилась в нашу кавалькаду. Я смотрела из окна на лица людей, сидевших в этих пролетках и колясках. У них были совершенно другие лица, чем у нас в деревне, – хмурые, озабоченные и одновременно насмешливые и злые. У мужчин и у женщин тоже.

Они смотрели на наш поезд. Какие-то кавалеры что-то шептали на ухо своим барышням и показывали, прямо вот так вот невоспитанно показывали пальцем на нашу карету, что-то говорили.

Некоторые смеялись, некоторые пожимали плечами.

– Интересно, что они говорят о нас? – спросила я папу.

– А ну, сама догадайся, – ответил он.

– Ага, – сказала я. – Вот этот студент в фуражке не бедный, очевидно. Смотри, какие у него перчатки и как сверкают туфли. Говорит своей барышне: «Фу, деревенщина! Едут со своими коробами. Видать, в деревне-то холодно зимовать!»

– А барышня что отвечает? – спросил папа.

– А барышня отвечает, – сказала я, опустив стекло кареты и глядя на барышню в упор, потому что эта коляска остановилась прямо рядом с нашей каретой, – а барышня отвечает: «А ты бы, милый мой, наверное, не отказался бы летом жить в имении, а на зиму приезжать в Штефанбург».

Я это очень громко сказала, так что барышня в пролетке меня не только услышала, но даже – ах, эта милая городская непосредственность! – решила завести со мной разговор.

– А вы правда живете в имении летом, а зимой приезжаете в город? – спросила она.

Молодой человек всплеснул руками и сказал:

– Анна, ну зачем?

– Да, правда, – ответила я. – Именно так, как вы сказали. А вы сами всегда живете в Штефанбурге?

Молодой человек, я его хорошенько рассмотрела – он был совсем молодой, ненамного меня старше, но уже студент, судя по мундиру, – молодой человек схватился за голову, закрыл глаза руками и простонал:

– Анна, ну хватит!

– Отчего же хватит? – сказала эта девица и перчаткой смешно хлопнула его по фуражке. – Да, барышня, – ответила она мне, – я здесь родилась и живу. И родители мои здесь родились. А вот он – приехал.

– Откуда? – спросила я.

– Из Белграда, – сказала она.

– Зачем? – спросила я. И потом сама догадалась. – В университет?

– Верно, – сказала эта самая Анна. – Учиться на правоведа. А вы зачем приезжаете в Штефанбург?

– Слушать оперу, – сказала я. – На оперный сезон.

Молодому человеку надоел этот наш разговор. Он повернулся, вцепился руками в плечи кучера. Кучер дернул лошадь, вывел коляску из ряда и проехал вперед.

Их место сразу же заняла другая коляска. Там сидела толстая дама в тонкой меховой накидке. Очень некрасивая, ужасно некрасивая, прямо как на карикатуре в юмористическом журнале. А рядом с ней такой же некрасивый старик. Пузатый, похожий на бульдога, совсем

как будто без носа, но зато с большими дряблыми щеками. Мне показалось, что они одной породы. Вот именно как бульдоги. И дети у них, наверно, такие же бульдожки, и внуки. Мне стало противно на них смотреть. Я подняла стекло и задернула занавеску.

Мы несколько раз останавливались, стояли у перекрестков. Наверное, только через полчаса свернули на нашу улицу Гумбольдта, она была на небольшом выступе вроде полуострова, что врезался в реку как раз напротив той самой горы, на вершине которой стояло укрепление Штефанбург, давшее имя всему городу, – маленькая крепость с церковью посередине.

Дальше были узкие улицы, которые вели к реке, к широкой набережной, по которой ходил трамвай. Набережная называлась Эспланада. К сожалению, из наших окон не было видно всей этой красоты, мы жили на втором этаже, а прямо перед нами, через улицу, находился большой отель. Вот из задних окон отеля виднелись река и возвышенная часть города – район Хох. Я слышала, что номера с видом на реку стоят дороже, чем те, которые смотрят на улицу, то есть на наш дом. Этот кусок города считался очень хорошим, аристократическим и богатым. Недалеко от нашего дома, я уже говорила, была прекрасная кофейня под названием «Трианон». В ней сидели солидные господа и красивые женщины в дорогих нарядах. Больших магазинов поблизости не было. Только в отеле напротив продавались сигары и вина. И еще в двух кварталах располагались булочная и салон искусств. Там в витринах были выставлены акварели в рамочках и бронзовые статуэтки, а в глубине виднелась золотая лепнина рам, которые окаймляли старинные и, наверно, очень дорогие картины. Прочие же магазины были довольно далеко, на Кенигштрассе, но нам они были незачем. За припасами слуги ездили на рынок. Разные приправы и пряности покупали в магазине колониальных товаров. Я даже не знаю, где он находился.

Дом наш был большой, в пять этажей с мансардой. С полуподвалом и бельэтажем. Папа рассказывал, что сначала он хотел снять квартиру в бельэтаже, но ему показалось слишком низко, слишком шумно. Не знаю, что он имел в виду, – по нашей улице довольно редко катались кареты. Еще реже проезжали автомобили. Разве что изредка подкатывали к отелю напротив. Но папа сказал, что разговоры на улице слышны слишком отчетливо и это его раздражает. И правда, иногда какие-то господа, возвращаясь из кофейни, могли остановиться прямо под нашими окнами и затеять очень длинный, громкий и скучный разговор о политике, о Турции, о Германии и о русском военном министре генерале Сухомлинове. Чем-то он им не угодил. Но из нашего второго этажа этот разговор был слышен точно так же отчетливо, как, наверно, и с бельэтажа, и с третьего тоже. Когда я выставила папе эти возражения, впрочем, это были не возражения, а просто соображения – квартира уже была снята на много лет вперед, – папа сказал, что у меня ужасная привычка все время перечить.

– Вот скажу я тебе, доченька, – сказал он мне, – что снег на улице белый, а ты скажешь: «Нет. Вон на него грязь из-под колес попала». И так во всем. Что тебе за толк – все время перечить, все время говорить «нет»?

– Я не перечу, а рассуждаю, – ответила я.

– Но рассуждаешь, так сказать, с отметкой «минус», – сказал папа. – Все время хочешь найти ошибку. Ты помнишь, как я из-за тебя чуть было не поспорил со священником? Он меня не хотел в церковь пускать. Все из-за твоих рассуждений!

Я прекрасно помнила эту историю.

Батюшка говорил проповедь и в ней упомянул о крестных страданиях Спасителя нашего и сказал, что таких страданий никто на свете никогда не претерпевал – и в этом-то и вся сила искупительной жертвы. После проповеди, приложившись к батюшкиной руке и получив мазок кисточкой елея по лбу, я сказала, что у меня есть небольшой вопрос. Батюшка попросил меня подождать. Благословив еще нескольких крестьянок, батюшка пригнулся ко мне и сказал, что готов меня выслушать. По всему видно было, что он готов был услышать признание в каком-

то маленьком детском грехе – ну, или получить вопрос: насколько грешно брать мармелад из банки без спросу, да еще в страстную пятницу. Но я сказала:

– А по-моему, страдания Спасителя были не такие уж сильные. Обыкновенные пытки. А если с другой стороны взглянуть, то и вообще тьфу, ерунда.

У священника округлились глаза.

Представляю себе, если бы это сказала деревенская девчонка. Он бы дал ей хорошую плюху – подзатыльник или пощечину – или, лучше того, рассказал бы ее родителям о такой наглости, и ее бы выпороли, привязав к верстаку и ради вящего исправления стыдом – созвав окрестных девчонок, а то и мальчишек. Я слышала эти слова: «ради вящего исправления стыдом», – но ни разу не ходила смотреть, как порют деревенских. Ну, разве что один раз. Когда госпожа Антонеску хворала и не могла пойти со мной гулять, и я пошла одна в деревню. Или два раза. Но не больше, честное слово!

Ему хотелось дать мне плюху. Но я была *барышня* в прямом смысле слова, дочка барина, вот он и сказал, подрагивая подбородком от возмущения:

– Но почему такие мысли, дитя мое?

– Очень просто! – Я обрадовалась возможности поболтать. – Во-первых, распятие в Риме было самой распространенной казнью. Когда разгромили восстание Спартака, то кресты стояли по всей Аппиевой дороге. На много десятков верст. Ничего тут необыкновенного. Хотя, конечно, больно и ужасно. Но – обыкновенно! Дальше, батюшка. В Древнем Риме были куда более жуткие и страшные казни. Например, раздавливание статуй. Представляете себе – человека клали на землю и на него накатывали мраморную статую! Или еще: человека зарывали в землю по шею, и его за два-три дня живьем съедали разные подземные жуки и землеройки, а также черви. Или вот: запихивали в мешок с ядовитыми змеями. Или самая ужасная казнь – утопление в мешке с кошками!

– А? – Батюшка вдруг встряхнул плечами.

Мне показалось, что он меня не слышит. У него притуманились глаза. Наверное, он читал про себя молитву, чтобы отвлечься от моих кошунственных глупостей. Но на слове «кошки» очнулся.

– Да, именно, вы не ослышались. – Я облизала губы и продолжала: – Утопление в мешке с кошками. Человека сажали в мешок, совали туда десяток кошек, а потом этот мешок начинали медленно-медленно погружать в воду. С помощью лебедки, я полагаю. Представляете, как вели себя кошки и каково было этому человеку?

– Ты все сказала, дитя мое? – тихо спросил батюшка.

– Нет, – сказала я. – Были, конечно, и более мягкие казни. Ну, усекновение головы. Раз – и все, без мучений. Или вскрыть вены по приказу Цезаря и сидеть, потихоньку ослабевая и как будто бы засыпая, погрузив руки в сосуд с теплой водой. Или вообще принять медленный яд...

В общем, распятие на кресте – конечно, жестокая казнь, но не самая страшная и мучительная.

– Ты все сказала? – повторил батюшка.

– Нет! – громко сказала я. – Не это самое главное!

– Что же?

– Да, что же? – раздалось сзади.

Я обернулась. За моей спиной стоял папа. Мы с ним были в церкви вдвоем, но он не стал подходить к руке после проповеди и вышел наружу и вот теперь вернулся.

– Ты подслушиваешь? – сказала я.

– Полагаю, речь не идет о тайне исповеди? Или идет? – усмехнулся он.

– При чем тут! – сказала я. – Послушайте, батюшка, но дело даже не в том, что распятие на кресте не самая жестокая казнь из римского, если можно так выразиться, ассортимента...

Дело в другом! – И я замолчала, ожидая, что священник нетерпеливо спросит меня, в чем же дело.

Но он молчал.

– Дело совсем, совсем в другом! – И я загадочно покрутила пальцем в воздухе.

Священник молчал, и у него опять начали туманиться глаза. Наверное, он опять молился в уме.

– Так в чем же дело? – спросил папа.

– А дело в том, что Спаситель наш Иисус Христос – он же был Бог! – воскликнула я. – Он, пардон, был и есть Бог, как сказано в Символе веры! Бог от Бога, сущий прежде всех веков! Так? А раз он сам был Бог, то он прекрасно знал, что воскреснет на третий день! Так что он вполне мог немножко потерпеть. Знаете, батюшка, – я перешла на доверительный и отчасти домашний тон, – мне полтора месяца назад вскрывали нарыв на локте, что-то там нагноилось, больно было страшно, папа послал за хирургом, приехал такой очень обходительный господин, расстелил простынку, побрызгал сулемой, впрыснул новокаин, а когда достал инструменты, я чуть не умерла со страху, такие ножки, и сейчас меня будут резать прямо по живому, но доктор сказал мне:

«Клянусь вам, барышня. Вам сейчас будет больно. Через два часа, когда отойдет заморозка, еще больнее. Но уже вечером станет легче. Утром еще легче. А на третий день вы, клянусь вам своей профессиональной честью, на третий день вы вообще все забудете. Я буду вам резать вашу бедную ручку, а вы, прошу вас, думайте, что будет на третий день, всего на третий день!» Вы знаете, все было точно так, как он сказал! Надо было только потерпеть! Так что и Спасителю надо было всего лишь потерпеть! Что страшного – потерпеть? Даже я смогла, а я просто девочка. А он – все-таки Бог, вы понимаете? Или вы думаете, он в пятницу еще не знал, что воскреснет в воскресенье? А? Знал или не знал?

– Заберите ее, – сказал священник папе осипшим голосом. – Уведите ее из храма.

– Сию минуту, – сказал папа.

Священник что-то прошептал ему на ухо. Папа пожал плечами, взял меня за руку, и мы вышли.

– Прекрасно помню! – сказала я весело.

– Ну и что же в этом хорошего? – спросил папа.

Я обняла его обеими руками за шею, поцеловала и сказала, гулко на «о», передразнивая нашего священника:

– *Господь даровал мне испытующий разум!* А вот что хорошего во втором этаже по сравнению с бельэтажем – я так и не поняла. Или просто бельэтаж был занят и осталась только квартира на втором этаже?

– Слишком он у тебя испытующий, – рассмеялся папа. – Разум твой девчоночий.

Он не больно шелкнул меня пальцем по лбу.

– Мне уже четырнадцать лет, сударь, – сказала я. – Через два года под венец.

– Интересные дела, – сказал папа. – Ну-ка, ну-ка, если можно, поподробней!

– Подробностей не будет.

– Это еще почему? – возмутился и даже, кажется, испугался папа. – Ну-ка давай, давай, выкладывай!

– Папочка, – сказала я, – сколько раз повторять?

Я просто рассуждаю. В принципе. По всем правилам.

В шестнадцать лет девица должна выйти замуж.

Я это произнесла с особым напором и смыслом.

Мне очень важно было повторить это самой себе.

Потому что года через два после приключения с Гретой Мюллер (помните, как я нашла ее волос у себя в постели и потом заставила ее кое-что мне показать?) эта самая Грета вдруг поймала меня во дворе. Осень была, середина сентября, и мы собирались в очередной раз ехать в Штефанбург на зиму.

Ах да! Это было именно тогда, в тот самый год, когда мы расстались с госпожой Антонеску. Ну конечно! Когда мы решали, брать ли мне горничную из здешних или искать ее в Штефанбурге. Вот тогда-то – то есть за месяц до вот этого моего разговора с папой, – вот тогда-то и случился наш разговор с Гретой. Она поймала меня во дворе и сказала:

– Дорогая барышня! Тут говорят, что вы гувернантку рассчитываете.

– Верно, – ответила я. – Кто говорит?

– Все говорят, люди говорят, – сказала Грета.

Мы стояли друг против друга на заднем дворе возле той самой лавочки. Я не помню, зачем я вышла во двор, как я там оказалась. Наверное, что-то хотела попросить у поваров напрямую, без церемоний. Грета смотрела на меня очень напряженно, как будто не решаясь что-то сказать или сделать.

От ее взгляда я села на скамейку, а она продолжала стоять – что в ее положении было совершенно естественно, впрочем. Я осмотрела ее с головы до ног. На ней была новая клетчатая юбка. Именно что совсем новая, яркая, ни чуточки не мятая. Мне даже на секунду показалось, что я чувствую запах новой материи. Чуть-чуть горчичный запах. Видно было, что Грета специально принарядилась для этого разговора, а ее золотые волосы были убраны в две косички и свернуты в полукружия, прищипленные к затылку большой латунной застежкой. Довольно красиво, кстати. Еще на ней была отглаженная полосатая кофточка, колечко с зеленым камешком, какой-то поясок в виде бронзовой цепочки с двумя фигурками на концах – какими, я не рассмотрела. И еще на ней были новые сандалии, деревянные с кожаными полосками крест-накрест. Она была без своих шерстяных носков, то есть сандалии были надеты на босу ногу. Я наконец увидела ее пальцы. Розовые, с хорошо подстриженными и чистыми ногтями. Даже удивительно! А второй палец был, как я и думала, чуть длиннее большого. Прямо как у меня. Мне захотелось их потрогать, погладить, а еще лучше – снять с себя ботинки и чулки и наступить на ее пальцы своими голыми ногами...

Я вздрогнула от таких неприличных мыслей.

Подняла на нее глаза и сказала:

– Я могу тебе чем-нибудь помочь, Грета?

– Можете, – сказала она. – Ежели захотите. Даже не знаю, как просить.

– Смелее, – подбодрила я.

– Барышня, вы рассчитали гувернантку, – сказала она. – Наверное, потом учителей наймете? Гувернантка эта ваша была ведь вам как гувернантка и как горничная тоже. Правда ведь?

– Правда, – сказала я, не сразу поняв, к чему клонит Грета. Но потом вдруг поняла и засмеялась. – Ах вот что! Ах вот оно что!

– Возьмите меня в горничные, барышня, – закивала Грета. – Возьмите меня, пожалуйста! Я лучше всех работать буду. Я вас одену-раздену, обстираю-обглажу, уложу-подыму. Ни одна сориночка на вас не упадет, барышня! Я ловкая и умелая.

– погоди, – сказала я. – А как же Иван?

– Какой Иван? – растерялась Грета.

– Ну твой, как это, парень, – сказала я. – С которым ты, как это у вас говорят, ходишь. Видишь ли, Грета, – сказала я, стараясь говорить как взрослая дама, как помещица и хозяйка. Хотя, честное слово, примера мне было брать совершенно не с кого. – Видишь ли, моя милая, я к тебе очень хорошо отношусь...

Я специально сказала эти слова, потому что знала из папиных разговоров и из дедушкиных шуток, а также из наставлений госпожи Антонеску, что эти слова означают отказ или что-

то нехорошее. «Я к тебе очень хорошо отношусь, но денег у меня нет и в долг тебе дать не смогу». «Я к вам прекрасно отношусь, молодой человек, и очень польщен вашим предложением, но моя дочь еще так молода и неразумна...» Короче говоря, «я к нему очень хорошо отношусь, но он распоследний негодяй и подлец». Но бедная Грета, наверное, не знала этих простых светских тонкостей, и поэтому, когда я ей сказала: «Я к тебе очень хорошо отношусь», – она вспыхнула и прошептала:

– А я-то вас прямо люблю, барышня! Уж и не знаю почему. Когда в первый раз увидела – вам еще восемь лет было – я только сюда из Андерваруша приехала, как вас увидела, как вы по аллейке идете, маленькая такая и серьезная, и ножки как хлебные булочки, я прямо в вас влюбилась. Вы мне прямо стали как не знаю кто! – Она замялась. – Как сестренка, наверно. Простите, барышня, за такую дерзость...

Я, честно говоря, просто испугалась.

С одной стороны, конечно, приятно, когда тебя вот так, издалека, безответно любят. Прямо вот настолько страстно любят, что в твоей кровати спят со своим парнем и волосы туда роняют, – а с другой стороны, кто она вообще такая, меня любить? Как она смеет? Дедушка рассказывал про свою молодость, как в соседнем имении кузнец стал на хозяйскую дочку засматриваться, на гитаре песенку у нее под балконом сыграл. Даже, дедушка говорил, и сказать тебе не хочу, что потом с этим кузнецом было. «Ну что, ну что, ну что? – спрашивала я. – Повесили? Насмерть заповороли?» – «Маленькая злючка, – смеялся дедушка, держа меня на коленях и легонько придерживая за плечо, чтобы я не свалилась. – Маленькая кровожадная ведьмочка! Ничего подобного, просто сдали в солдаты». – «Ага! – закричала я. – А потом он стал героем, получил орден, офицерский чин, дворянство и поместье, был замечен кайзером, дослужился до генерала и вот приехал в то имение в гости к этой девушке. К папаше. А эта девушка его узнала и сказала: “Господин генерал, а помните, как много лет назад вы пели под гитару у моего балкона?” А он захохотал и сказал: “Вы что-то перепутали, мадемуазель!” И она ушла в монастырь. Или вовсе отравилась». – «Какой роман! – дедушка долго хохотал, трясясь всем телом, и я подпрыгивала, сидя у него на коленях. – Какой роман! Если б ты не была Тальницки, да еще и фон Мерзбург по матери, я бы, честное слово, рекомендовал бы тебе заняться сочинительством».

Потом вдруг перестал смеяться, смех слетел с него, как будто и не прилетал никогда на его серебристое лицо, – и он сказал:

– Нет, Далли. Как ушел в солдаты, так и пропал. Даже похоронного письма не было.

Я была, как говорят французы, фраппирована и шокирована ее словами и поэтому повторила:

– Я к тебе очень хорошо отношусь, Грета! Но мой папа уже назначил городским поваром Влада. То есть Владислава. Если бы он назначил Ивана, тогда другое дело. Но суди сама. Если я вдруг начну просить папу, чтобы он взял поваром Ивана вместо Влада, то это с моей стороны будет явный, как говорят французы, faux pas – неправильный поступок. Потому что я тем самым признаюсь, что знаю о вашей незаконной связи. Что папа подумает обо мне? Да и о тебе?

– При чем тут Иван? – воскликнула Грета. – Зачем Иван?

– Как то есть зачем? – сказала я. – Не могу же я вас разлучить на целых полгода.

– Что вы такое говорите, барышня? – чуть не застонала Грета. – Возьмите меня, очень вас прошу.

– А как же твоя больная бабка? – спросила я.

– Какая у вас память, барышня! – сказала Грета даже с некоторой злостью.

– Я молодая хозяйка этих мест, – сказала я. – И я должна все помнить. Так как же бабка? Или ты в тот раз соврала?

– Ничего я не соврала! – чуть не закричала Грета. – Померла бабка, в прошлом году. Одна я осталась.

– А зачем тебе быть моей горничной? Поехать в город и подцепить городского парня?

– Я вас не брошу, – сказала Грета. – Никогда. Я с вами до старости проживу.

Я молчала и только качала головой – нет, нет, нет.

– Не хотите, значит? – спросила Грета.

Я очень хотела.

Так страшно хотела, что знала – ни в коем случае! Вот опять как тот самый самурай. Когда видела Грету – а я ее до этого несколько раз видела между тем приключением с Иваном и вот этим нашим разговором, – я всякий раз вспоминала самурая, который делает себе хакири, потому что тут долг – там честь, справа хочется – слева нельзя, и все такое.

– Дорогая Грета, – в третий раз повторила я, – я очень хорошо к тебе отношусь, но, увы, не смогу взять тебя с собой.

Я посмотрела на нее и увидела, что глаза ее налились слезами, большими и ясными. Но вдруг она как будто втянула слезы обратно в глаза, села рядом со мной, взяла меня за руку и сказала:

– А хотите, барышня, я вам погадаю?

Конечно, надо было сказать «нет», но я сказала «ну-ну».

Грета сжала мою ладонь так, что линии сошлись пучком, левой рукой сорвала ромашку, которая росла под скамейкой, смяла и растерла ее желтую серединку, высыпала этот желтый прах мне на ладонь, развела его по ладони пальцем, стукнула по тыльной стороне, и желтая пыльца ссыпалась мне на юбку. Потом снова сжала мою ладонь, какие-то кусочки желтого остались, она посмотрела, что получилось, дунула мне на ладонь, движением своих пальцев очистила ее от последних клочков ромашки, быстро поцеловала мне запястье и тихо и мстительно сказала, глядя мне прямо в глаза:

– Невинной девушкой умрете, барышня!

Я испугалась, но быстро справилась с собой. Встала, показательно отерла руку от Гретиного поцелуя и сказала, усмехнувшись:

– Даже интересно! Умру в юности или останусь старой девой?

– Знать не знаю, – насупилась Грета. – Это уж как Господь решит. А вы, барышня, все равно невинной девушкой умрете.

Вот почему я решила, что в шестнадцать лет непременно выйду замуж. Вот прямо когда исполнится разрешенный кайзером возраст для замужества дворянок. Поэтому я и сказала папе:

– Я взрослая барышня – мне четырнадцать. Через два года пойду под венец. – И переспросила: – Так все же почему не бельэтаж?

– Я зашел в бельэтаж, – сказал папа. – Эта квартира была свободной. И увидел, что прямо на уровне окна проплывает крыша какой-то кареты, а кучер – тот вообще сидел вровень со мной. Если бы мы с ним были приятелями, – сказал папа, – я мог бы ему протянуть зажженную спичку.

– Теперь понятно, – сказала я.

Кстати говоря, в бельэтаже так никто и не жил. Там была приемная какого-то адвоката.

## VIII

У адвоката на двери была, как положено, большая латунная табличка с немецкой фамилией. Я не запомнила. Кажется, там были целых три немецких фамилии: «Адвокатская контора Майер, Моллер и Шульц», только не Майер и Моллер, а что-то ужасно длинное, на много-много букв, Майерлингерхоффман, но я не запомнила. Иногда в эту дверь входили пожилые господа в черных костюмах и в котелках, с черными саквояжами в руках. Одного я чуть не сбила с ног, когда бежала вниз по лестнице, но он улыбнулся и даже сам извинился. Я не понимала, кто это – сами адвокаты или их клиенты, но шума из той квартиры не доносилось никакого.

Бывало, днем, когда я оставалась в квартире одна, я ложилась в гостиной на ковер у самого краешка, прижимала ухо к паркету и старалась что-нибудь услышать, особенно если перед этим я, выглянув в окно, видела, как в наш подъезд входил очередной господин в черной шляпе и с саквояжем. Я читала в английских романах, что в адвокатских конторах начинаются и заканчиваются семейные драмы и криминальные истории. Мне очень хотелось узнать про какую-нибудь семейную драму со стороны, потому что про нашу семейную драму мне никто не рассказывал: ни дедушка, когда я была маленькая, ни папа, когда я немножко подросла, ни даже верная госпожа Антонеску, из которой я пока не смогла вытрясти адрес своей мамы. «Но ничего, еще вытрясу!» – думала я, лежа на ковре и прижимаясь ухом к тепло-хладному паркету, пытаюсь услышать снизу хоть что-нибудь. Но не слышно было ничего.

А мы жили на втором этаже.

На нашей лестничной площадке была только одна квартира – наша. У нее был номер 29. Квартира была угловая, и поэтому большая. Частью она смотрела на улицу, а изгиб ее уходил вбок, в проулок между двумя домами. Из просторной передней дверь вела прямо в большую гостиную, которая выступала широким трехгранным эркером наружу. Этот эркер как раз приходился над парадным подъездом. Налево и направо шли коридоры. Направо – смежная с гостиной столовая, а за ней папина комната. Эти комнаты смотрели на улицу.

Напротив них была комната с окном во двор, в которой никто не жил. Но она была устроена так, что, если бы дедушка вдруг воскрес, он бы там с удовольствием поселился. То есть на самом деле это и была *дедушкина комната*, но не та, в которой дедушка когда-то жил – потому что, когда дедушка был жив, мы снимали другую квартиру, – а устроенная папой как бы в память о дедушке. Там были книжные шкафы, бюро с рабочим креслом, большой кожаный диван, низкий столик, на котором стояли прикрытые специальной плетеной корзинкой несколько бутылок с коньяком, водкой и ликерами, а также маленькая шкатулка с рюмками. Еще там стояли коробки с сигарами и папиросами и небольшая стойка с английскими трубками, хотя сам папа трубку не курил и дедушка, кажется, тоже. Но превосходные трубки, темно-бежевые, с белыми точками на черных мундштуках или с серебряными кольцами, обхватывавшими дерево там, где чубук соединялся с мундштуком, – эти трубки стояли в круглой деревянной стойке. Я брала их в руки и нюхала – пахло очень старым табаком, старой гарью.

Станный запах, тонкий и тоскливый. Так пахли камни в бывшей кувзарской деревне. Когда мы с дедушкой гуляли там, я ногой выковыряла из земли обгоревший кирпич и понюхала его. Был точно такой же запах.

Эту комнату папа использовал как курительную. В своей комнате, там, где стояла его кровать, он не курил. Несмотря на то, что квартира была у нас очень большая, у папы не было отдельно кабинета и отдельно спальни. Его кровать стояла там же, где письменный стол, кресло и книжные шкафы. И хотя папа разгуливал с папиросой по всему дому, но у себя в комнате не курил, говоря, что от этого у него под утро разбалывается голова.

На стенах дедушкиной комнаты висели картины, вернее, картинки, совсем маленькие. «Серьезные картины», как выражался папа, висели там, в имении. А здешние изображали наше имение: вид спереди, вид сзади, ворота с Дидоной и Энеем, липовая аллея, ведущая к пруду, и, пожалуй, все. Дедушкиного портрета не было.

Я спросила папу:

– Почему?

Он сказал:

– Понимаешь ли, эта комната – как будто бы его комната. А ведь человек редко когда вешает свой собственный портрет в своей комнате.

– Отчего же? – сказала я. – У наших соседей я много раз видела, как в детской висят портреты детей, а у фон Глюкштайнов даже один раз в будуаре видела портрет хозяйки.

– Ну и что? – вдруг возмутился папа. – Они так, а я по-своему.

– А дедушка был добрый? – спросила я.

– О, да! – тут же сказал папа. – Он был очень добрый. Не жалел для меня ничего. Покупал мне все, что я хотел. Посылал меня учиться в Вену и Мюнхен, а на каникулы отправлял в Лондон и Стокгольм, однажды позволил прокатиться в Америку, вот как! А зимой на Рождество посылал меня в Рим и даже давал мне денег, чтобы я мог заплатить за билет и гостиницу для своего товарища – у меня был небогатый приятель. Ему самому было бы это дорого. А дедушка давал нам деньги, причем умудрялся сделать это совершенно необидно для моего приятеля. Он говорил: «А что бы вам, молодые люди, не съездить на Рождество, не отстоять бы мессу и не помолиться бы за меня, грешника, пред могилою святого Петра», – и давал нам целый кошелек золотых монет. То есть получалось, как будто бы он дает нам поручение, задание, так что мой приятель, который был очень хорошей фамилии, но совершенно не имел денег, не обижался.

– Здорово, – сказала я. – Дедушка, значит, был католик?

– Да, кажется, – ответил папа. – Римской веры.

– Странно, я думала, что мы греческой веры, – сказала я. – У нас же в деревне православная церковь, и мы туда ходим.

– Так ли это важно? – спросил папа. – Вообще по рождению мы все католики. Но у нас в имении на сто верст вокруг нет католического храма. Поэтому дедушка крестил меня, да и тебя тоже, в православной церкви. Хотя твоя мама была против. Она как раз католичка. Но с дедушкой не поспоришь. Ну и что? Какая разница? Я, например, считаю себя адептом древней неразделенной церкви.

– Хорошо, хорошо, никакой разницы, – сказала я. – Но дедушка, выходит, был такой страстный католик, что ему непременно надо было, чтобы у Святого Петра за него помолвились?

– Бог мой, Далли! – засмеялся папа. – Какая ты смешная. Я же тебе объясняю, что дедушка все это нарочно подстраивал. Он боялся отпустить меня одного и так специально делал, чтобы я поехал вместе с очень надежным, немножко старше меня, приятелем. Чтобы заплатить ему за дорогу и гостиницу. Сколько раз повторять?

– Значит, дедушка не верил в Бога? – спросила я.

– Ах, Далли, это длинный разговор, – сказал папа.

Мы как раз были в дедушкиной комнате.

Я сидела на диване, а папа, дымя папиросой, прохаживался от двери к окну и обратно. Дело было после обеда. Папа всегда говорил, что после обеда нужно хотя бы полчаса постоять на ногах, чтобы не разжиреть. И поэтому ровно полчаса он либо стоял у книжных полок, вынимая книжку наполовину и потом сильным щелчком заталкивая обратно – у папы на полках книги стояли чуть свободно, это был его принцип, – и так вторую, третью, десятую, либо курил, а я сидела или валялась на диване. Когда со мной жила госпожа Антонеску, тогда, конечно, не поваляешься. Тогда после обеда мне предстояла часовая прогулка в любую погоду. Жара,

дождь или снег идет, как бывало зимой в Штефанбурге, – госпожа Антонеску нещадно волокла меня вон из дома и заставляла довольно быстрым шагом ходить либо по аллеям, либо по улицам. Я не знаю, сама это она придумала или папа ей велел.

Но интересно другое. В первую же зиму без госпожи Антонеску я совершенно перестала гулять после обеда. Я приходила в дедушкину комнату, где папа, нарочно пружиня ногами, расхаживал от окна к двери и обратно, и плюхалась на диван и даже специально похлопывала себя по животу, но папа совершенно не обращал на это внимания.

Вообще, у папы было какое-то странное «обращение внимания». Невозможно было догадаться, к чему он прицепится, а что пропустит.

Да, так вот. Я спросила, верил ли дедушка в Бога, и папа сказал:

– Ах, Далли! Это слишком длинный, сложный, – он немножко помялся и добавил: – Философский разговор.

– Ах, ах! – засмеялась я и довольно громко, так что самой больно стало, хлопнула себя по животу. – Ах, милый мой папочка! Ты же сам меня этому учил, и госпожа Антонеску тоже.

– Чему я тебя учил? – вскинул голову папа.

– Ты меня учил, – сладенько проговорила я, – что, когда не хочешь сказать «нет», надо отвечать что-то вроде «это сложный вопрос», «трудно вот так сформулировать одной фразой», «тут необходимо поразмыслить» и так далее.

– Но это действительно сложный вопрос и долгий разговор, – сказал папа.

– То есть дедушка не верил в Бога? Да? В смысле нет? Или нет в смысле да?

– Не морочь мне голову, – сказал папа.

– О! – воскликнула я. – Великолепно! «Не морочь мне голову» тоже означает «нет». Но когда говоришь либо с младшим, либо с низшим. Верно?

– Я не знаю, – сказал папа. – Верил ли дедушка в Бога? Я не знаю, смог бы он тебе ответить на этот вопрос. А вот скажи ты мне – ты веришь в Бога?

– Отвечать на вопрос вопросом – тоже способ увильнуть, – сказала я.

– Э, нет! – возразил папа. – Я же ответил «не знаю». Ведь кроме «да» и «нет» есть честный ответ «не знаю». Я честно ответил, а теперь ответь ты.

Я встала с дивана, похлопала рукой по подушке, встала на нее коленями, скорчила постную рожу и сказала:

– Верую во Единого Бога, отца, вседержителя, создателя неба и земли. . .

– Хватит! – перебил меня папа.

– Что в этом дурного? – спросила я. – Ты меня спросил, верю ли я в Бога. Я тебе отвечаю вполне канонично. А хочешь по-латыни: *Credo in unum Deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. . .*<sup>5</sup>

– Прекрати! – закричал папа.

– Я оскорбляю твои религиозные чувства? – спросила я, дочитав.

– Отчасти, – сказал папа. – Видишь ли, Далли, я не верю в каждую букву Символа веры. Мне, например, трудно себе представить, как Иисус *sedet ad dexteram Patris*, «седаща одесную отца».

– Это нарисовано в любой церкви, – сказала я. – Ты что, не помнишь? Бывает, что очень красиво. А сверху голубь, весь в лучах. Вспомни. Чего тут представлять? Достаточно вспомнить.

– Нет, Далли. – Папа положил погасшую папиросу в пепельницу и закурил новую. – Это все-таки разные вещи. Одно дело на картине в церкви или музее, а другое дело – запрокинуть голову к небу и попытаться себе представить, что где-то там, на небесном престоле сидит Бог-

---

<sup>5</sup> Верую в единого Бога отца вседержителя, создателя неба и земли, видимого всего и невидимого (*лат.*).

отец. И еще я совершенно не могу себе представить Второго пришествия. А в Символе веры об этом прямо говорится: «Паки грядущего судити живым и мертвым». Когда я был в Риме, мы с товарищем, конечно же, были в Сикстинской капелле и видели эту поразительную огромную, подробную картину – «Страшный суд». Там было все: и могучий Христос, и грешники, и праведники, и облака, и молнии, и сияние, солнце и отблески адского пламени – очень красиво. Но я никак не могу себе представить этого в реальности. Пожар, бомбардировка, захват города неприятелем – это сколько угодно. Хотя я этого, честно говоря, ни разу не видел своими глазами. Знаю только по военным корреспонденциям в газетах и по рассказам бывалых людей. Но я знаю, что так бывает, и легко могу это себе представить во всех подробностях. Признаюсь честно, мне это иногда даже снится. Страшные сны про войну, на которой я никогда не был и, даст бог, никогда не побываю. А вот что касается Страшного суда, – он развел руками, – увы. И странное дело – я полностью верю в то, что описано в Евангелиях: в рождение Христа, в то, как он проповедовал, как его распяли, во всех мельчайших подробностях. Вот все, как там описано, своими глазами вижу, и не надо мне никаких картин. А вот в то, что будет потом, – не знаю. В общем, – усмехнулся он, – я верю в то, что было, а не в то, что будет. А ты сама веришь в Страшный суд?

– Нет, – сказала я. – Хотя верю в то, что он может случиться. А может и не случиться. А верить нельзя на пятьдесят процентов. Вот даже в каком-нибудь романе кавалер говорит барышне: «О, моя любимая! Верите ли вы в мою любовь?» Она может только поверить целиком. Представь себе барышню, – засмеялась я, – которая говорит: «Ах, мой милый Пьер! Возможно, конечно, вы мне будете верны всю жизнь. А может быть, завтра убежите от меня с первой же встречной вертихвосткой». Какое-то издевательство. Поэтому нет. Хотя, конечно, может случиться какая-нибудь новая война, на которой мы все погибнем. Если на нас одновременно пойдут Германия, Англия, Франция и Россия. Они засыпят нас бомбами, окружат со всех сторон своей артиллерией и начнут бомбить. Это будет почище Страшного суда на картинке.

– Где ты такого нахваталась? – закричал папа.

– В газетах, в газетах, – сказала я. – Разве ты не читаешь газет? Да, они уничтожат нас, и какой-нибудь газетчик назовет это «Страшным судом», но это будут только красивые слова.

– Зачем ты читаешь газеты? – спросил он.

– Надеюсь, я не оскорбила твои религиозные чувства?

– Не оскорбила, – сказал папа. – Но меня немножко покорило, когда ты с шутовским видом читала Символ. Видишь ли, Далли, даже если мы с тобой не верим в каждую букву Символа, на свете есть люди, и их немало, может быть, даже большинство, в наших краях, для которых каждая буква Символа священна, и они верят в Бога именно так, как там написано. Верят в каждое слово, во всех подробностях.

– И что поэтому? – спросила я.

– Поэтому, – сказал папа, – не следует издеваться, глумиться, передразнивать, когда речь идет о вещах, которые для многих священны.

– Так, так, – сказала я. – Значит, я должна уважать чувства мещан и плебеев.

– Это не мещане и плебеи! – воскликнул папа. – Это народ!

– Мне кажется, ты тоже читаешь газеты, – сказала я. – Даже больше, чем я. А дедушка совсем не верил в Бога. Ни капельки. Я в этом совершенно уверена. Потому что он велел вырезать и сжечь целую деревню.

– Кто тебе об этом сказал? – закричал папа. – Это сказки!

И он попытался засмеяться.

– Значит, дедушка врал? – спросила я. – Или это действительно было?

– Потом, – сказал папа, – потом, потом.

– Когда взрослый не хочет ответить на неудобный вопрос ребенка, он часто говорит «потом, потом».

– Нет, – сказал папа, задумавшись над раскрытой пачкой папирос. – Нет, третья папироса подряд – это, мне кажется, слишком много. – Он откашлялся. – Да, слишком.

Я лежала на полу и слушала паркет, но так ничего и не услышала. Наверное, эти адвокаты со своими клиентами говорили шепотом, а может, потолок у них был обит бархатом – для красоты и заодно чтобы не подслушивали.

А теперь, бродя по нашей городской квартире, пойдем дальше. Коридор шел налево и загибался еще раз налево, обходя малую гостиную – совершенно бессмысленную комнату – с диваном, четырьмя креслами и какими-то бездарными жардиньерками по углам.

Дальше шла, наконец, моя комната. Она мне казалась самой лучшей, потому что выходила на две стороны: на улицу и в проулок, то есть она была по-настоящему угловая. Госпожа Антонеску приложила немало усилий к тому, чтобы это была настоящая комната молодой аристократки, помещицы, которой в будущем предстоит владеть огромным имением, с лесами, деревнями, полями и виноградниками, – поскольку у моего папы других детей не было. Я иногда задумывалась об этом. Если я останусь единственной наследницей не столько даже имения, сколько славной фамилии Тальницки унд фон Мерзебург, то интересно, как себя будет чувствовать мой будущий муж? Куда денется моя фамилия? Неужели мой будущий муж согласится, чтоб наши дети носили мою фамилию? А если нет, то как же? Тут я вспоминала, что у меня у самой двойная фамилия – по папе и по маме, потому что мама была последней в роду фон Мерзебург, в том самом, полувыдуманном, от первой жены Генриха Птицелова, помните? – поэтому в Императорской канцелярии было получено разрешение на передачу этой фамилии по женской линии. Проще говоря, если у меня родится девочка, она будет тоже Тальницки унд фон Мерзебург, но это по мне. А по мужу? Вдруг у него тоже двойная фамилия? Значит, у наших детей будет четверная? А вдруг наша дочь выйдет замуж тоже за человека с двойной фамилией? Вспоминается индийская задача про шахматную доску и зернышко...

Я трясла головой и утешала себя тем, что мне пока думать об этом рано.

Да, госпожа Антонеску очень заботилась об аристократизме моего воспитания и все время рассказывала мне, как воспитывают молодых аристократов в Англии. Как они там живут в холодных спальнях, спят едва ли не на досках, на тощих волосяных матрасах, едят овсянку на воде, занимаются спортом и до умопомрачения зубрят греческие глаголы. Я слышала, как она об этом говорила с папой. «Очень, очень верно, – говорил папа. – Очень, очень верно. За одним лишь уточнением – она ведь девочка». – «Да, но она единственная наследница», – возражала госпожа Антонеску. Папа что-то хмыкал и мекал в ответ.

Все-таки госпожа Антонеску одержала верх – хотя бы символически. Конечно, я не спала на досках и не питалась овсянкой на воде. И меня не заставляли играть в футбол. Более того, госпожа Антонеску сама меня переодевала, когда я была маленькая. Когда я чуть подросла, помогала мне заниматься туалетом. Одежду я носила как штефанбургская барышня, а не как юный английский аристократ. Это-то понятно. Но зато моя комната была обставлена с примерной скромностью. Узенькая кровать, стол-конторка, жесткое деревянное кресло, строгий, безо всяких украшений шкаф для одежды. Вот, пожалуй, и все.

Когда мы рассчитали госпожу Антонеску, я перетащила из кладовки к себе в комнату свою многолетнюю мечту – большую стоячую вешалку с пятью рожками, куда я могла вешать, а то и просто кидать свои кофты и юбки, потому что при госпоже Антонеску любую снятую вещь надо было либо отдавать в стирку, либо же, если речь шла о юбке или жакете, аккуратно складывать или вешать на плечики и помещать в шкаф.

Зато на полу лежал огромный, не меньше чем в половину комнаты, старинный афганский ковер. Весь блеклый, вроде бы изношенный, но на самом деле невероятно крепкий. Дедушка

мне рассказывал, что в Афганистане продавцы ковров выкладывают их на улице перед лавкой. По ним ходят люди, ослы топчут их копытами, по ним катятся повозки на деревянных колесах, а коврам от того только лучше, потому что таким манером из узелков выдавливаются мельчайшие, невидимые глазу частицы бараньего жира, которые все равно остаются в шерсти, и от этого ковры становятся только крепче и эластичнее. Вот такой истоптанный смуглыми афганскими пятками и ослиными копытами ковер лежал на полу моей городской комнаты, и мне это очень нравилось. Ночью, когда шел дождь и в комнате становилось влажно, но при этом тепло от кафельных печных стенок, мне казалось, что от ковра пахнет бараниной, дымом и вообще чем-то далеким, горным и афганским. Никакого сравнения с бессмысленным и пушистым ковром в гостиной, от него если чем и пахло, так только одеколоном, которым в магазинах, бывало, сбрызгивали залежалую шерсть.

Рядом с моей комнатой, дверь в дверь, раньше жила госпожа Антонеску. Ее комната тоже была очень скромно обставлена. Тоже кровать, бюро, гардероб. Разве что коврик на полу попушистей и на стене несколько гравюр с изображением римских развалин. Возможно, эти гравюры были из какой-то учебной серии или из альбома, потому что внизу каждой был целый список изображенного там: лестницы Капитолия, храм Весты и все такое прочее. Я собиралась поселить туда свою новую горничную.

Вообще же вся прислуга – кроме папиного камердинера, разумеется, – жила в полуподвальной квартире, которая находилась как раз под адвокатской конторой. Это была довольно большая квартира (я туда заходила один раз с госпожой Антонеску, мне самой было любопытно узнать, как живут наши люди). Кроме наших дворника, кучера, повара и общей семейной горничной Минни – или Мицци? – личную горничную для меня мы так и не наняли – там жила еще прислуга из других квартир. Я помню длинный коридор, много дверей по обе стороны, большая-пребольшая кухня в конце, в которой было жарко от постоянно горевшей дровяной плиты. Госпожа Антонеску сказала, что в том году дровяную плиту должны были заменить на газовую. А в нашей кухне, которая находилась в самом конце квартиры, была уже поставлена новейшая американская газовая плита. Мне нравилось смотреть, как с ровным гудением зажигается конфорка и синяя тугая розетка пламени обещает вскипятить чайник за три минуты, а не за двадцать, как это бывает на дровяной плите.

А между кухней и комнатой госпожи Антонеску были ванная и уборная – мои любимые места в этой квартире. Потому что в имении мы купались по старинке. Папа все никак не мог собраться – я уже говорила об этом – оборудовать современную туалетную комнату. Естественные надобности мы справляли в ведро, а мылись – о, это отдельная история! – раз в неделю.

Из кладовой выволакивались стоявшие там стоймя, вложенные одна в другую, как серебряные рюмки в охотничьем питейном наборе, медные ванны. Ванны ставились на специальные рамки с колесиками, довольно высокие, чтоб под них подлезло ведро, и развозились по спальням. Потом, правда, папа распорядился, чтобы одна из пустующих комнат в левом крыле, где раньше стоял бильярдный стол, использовалась как ванная. Потому что разносить ведра с горячей водой по всему дому – это было слишком хлопотно. Не то чтобы папа жалел слуг, но просто начинались такая беготня, топот, грохот, что папа решил перенести это в отдельное помещение, тем более что на бильярде у нас дома никто не играл. Когда-то играла мама, одна, сама с собой, но потом бильярд стал никому не нужен.

Из тонких липовых досок, обтянутых серым холстом, наделали ширм, так что в этой бывшей бильярдной, а ныне в ванной комнате могли купаться одновременно четыре человека: папа, я, госпожа Антонеску и камердинер Генрих. Хотя на самом деле, конечно же, сначала купались мы с папой и нам помогали гувернантка и камердинер, а потом, когда мы, облачившись в купальные халаты – я в белый, а папа в полосатый, – с полотенцами на головах выходили из ванной, – вот тогда наступала очередь Генриха и Евгении. Я забыла вам сказать, как

звали госпожу Антонеску. Ее звали Евгения, или Эжени. Наверно, они справлялись сами. Хотя, может быть, Эжени терла спину Генриху, но это уже их личное дело. А потом прислуга опорожняла ванны. Ванны отмывались и ставились в кладовую до следующей пятницы.

Вот сколько хлопот!

А в городской квартире, во-первых, была горячая вода. Причем текла она не по-старому, не по-британски: отдельный кран горячая вода, отдельный – холодная; я не была в Лондоне, но мне рассказывал папа, – а по-нашему, по-континентальному, по-новейшему: с краном, где холодная и горячая смешивались. Какая прелесть! Ванна была белая, эмалированная. Стояла низко, поэтому в нее было удобно залезать. И, главное, был душ в углу, в металлическом круге, с которого свисала полупрозрачная клеенка. Снизу была закрытая решеткой дырка в полу, а сверху была чудесная леечка, из которой текла вода – хочешь теплая, хочешь прохладная, а хочешь – совсем кипятком.

Правда, госпожа Антонеску говорила, что слишком часто в душе мыться не следует, потому что это возбуждает нервы. Не знаю. Меня, например, душ очень успокаивал.

Но я с госпожой Антонеску не спорила и просто наливала себе полную ванну воды – утром и вечером. Папа говорил, что я как будто бы хочу зимой накопаться вперед, на все лето.

Наконец, папин камердинер.

Он жил напротив столовой, наискосок от папиной комнаты. Его комната (по-моему, я там ни разу не была) была самой первой от двери. Камердинер, как и госпожа Антонеску, ходил через парадный вход. А за кухней была еще кладовая, в которой стояли шкафы с разными съестными припасами, вином, маслами, крупами и уж я не знаю с чем. А по другую сторону были другие шкафы, куда складывали разные вещи вроде шляпных коробок и каких-нибудь старых ножей, вилок-ложек и всего такого. Кладовая была очень большая. Мне кажется, не меньше, чем гостиная. Наверное, у прежних хозяев в квартире было устроено как-то по-другому. В этой кладовой, наверно, можно было сделать две или три детские, ну или вообще как-нибудь распорядиться этой здоровенной комнатой. Но у нас было вот так. Из кладовой дверь шла на черную лестницу. Именно через черную лестницу в квартиру заносились припасы, выстиранное белье, разные покупки, которые делали папа и госпожа Антонеску и велели потом доставить по адресу, и через эту же черную лестницу к нам поднимались повар и другие слуги.

Мой день рождения обычно мы отмечали в имении.

Я родилась тридцатого мая. Папа устраивал праздник для всех слуг. Накрывались столы, дерево, стоявшее посредине заднего двора, украшалось ленточками, выставлялись вино и баранина. Слуги подносили мне подарок. Обыкновенно это был какой-то хорошо испеченный, вкусный, многоэтажный, но при этом маленький торт. Специально, чтобы у меня не было соблазна угощать им гостей. Этот торт мы съедали вчетвером с папой, Генрихом и госпожой Антонеску. А для слуг пекся большой пирог в полстола размером – кажется, они доедали его еще дня два.

Приезжали соседи. Но их было значительно меньше, чем слуг. Несколько барышень, несколько мальчиков. Кто-то помладше меня, кто-то постарше. В основном побогаче и познатнее. Но бывало и наоборот. Но очень, очень скучные. Они приезжали вместе со своими гувернантками и гувернерами, а родителей с собой не брали. Вернее сказать, это их родители, пользуясь тем, что приглашение было на детский праздник, сами не приезжали, чем слегка разочаровывали моего папу. Потому что в назначенный час (а назначенным часом было два часа пополудни), когда к нашему крыльцу начинали подъезжать нарядные кареты, папа, взглядевшись в герб на дверце, говорил, приподнимая шляпу: «О, князь такой-то к нам пожаловал!» – а потом, видя, как из кареты, сопровождаемый гувернером, вылезает двенадцатилет-

ний мальчик, поправлялся: «Молодой князь». И так раз пять или восемь. «Молодой граф», «молодая графиня» и т. д.

Один князь все-таки приезжал со своим сыном. Это был тот самый приятель, который вместе с папой ездил в Рим на дедушкины деньги. Знатный, но сильно обедневший. Папа встречал его, сбегал с крыльца, брал за обе руки. Они целовались, искренне, по-настоящему, троекратно, а не так, как я, бывало, видела, когда едва прислоняются щеками и чмокают в воздух в районе затылка своего визави.

Сын у него был старше меня года на два, грустный и толстый мальчик. Я все время старалась ему не понравиться, потому что ужасно боялась, что папа вдруг захочет выдать меня за него замуж – все-таки сын старого друга. А с этим старым другом папа с таким наслаждением беседовал, сидя в гостиной за бокалом коньяка! Нет, конечно, сейчас не Средние века. Я бы ни за что не вышла замуж за этого унылого, толстого мальчика. Но был бы жуткий скандал, а этого мне не хотелось. И поэтому я все время держалась от него подальше.

Но я ему тоже не нравилась. За все разы (а я точно помню семь раз, как он у нас был) он ко мне подошел только однажды и спросил: «А как будет по-немецки “чересседельник”?» Я сказала: «Не знаю», – думая, что это какая-то смешная загадка. Что он скажет сейчас немецкое слово, которое будет по-нашему звучать смешно или даже неприлично. Я уже приготовилась смеяться и даже спросила: «А как? А как? Скажи, как?» Он сказал: «Тоже не знаю. А подруга как?» – «А ты что, конюх?» – спросила я. – Или кучер?» – «Сама дура», – прошептал он, развернулся и пошел к другим детям, которые пытались играть в крокет.

Но в этот год, когда мне должно было исполниться шестнадцать, мы не вернулись из Штефанбурга в имение, как обычно, в конце марта или в самом начале апреля. Папа сказал, что во всем доме переключивают крышу и что сейчас для этого как раз прекрасное время. Он долго объяснял, что мы давно не переключивали крышу именно потому, что сами жили в имении летом и не хотелось всей этой сутолоки, стука молотков и визга пил у себя на голове. Зимой, когда нас нет в имении, дождь и снег, и крышу переключивать невозможно. А сейчас как раз стоит прекрасная погода. Судя по всем приметам, апрель, май и июнь будут сухими, и поэтому он приказал заняться крышей именно сейчас, а мы останемся в Штефанбурге, самое маленькое, до середины июня, а может быть, и до конца. «И твое шестнадцатилетие, Далли, будем праздновать здесь!»

Я, конечно, была рада. Хотя бы потому, что не надо звать этих скучных мальчиков и девочек, молодых графинь и юных князей. Здесь можно будет просто заказать кабинет в хорошем ресторане и весело закусить небольшой компанией. Я собиралась попросить папу, чтобы он разыскал госпожу Антонеску, и пригласить ее, если она никуда не уехала из города. Да, я была рада, но что-то в подробных папиных объяснениях мне не понравилось. Он никогда не объяснял мне своих решений так многословно и отчасти даже извиняясь. Поэтому я сказала: «Да, да, папочка! Конечно!» – но вечером поймала в коридоре камердинера Генриха и спросила:

– У нас что, дом сгорел, что ли?

– С чего вы взяли, барышня? – пожал плечами Генрих. – Если бы, не дай бог, такое несчастье случилось, вы бы первые об этом узнали. Но, слава богу, все хорошо.

– В чем же дело? – спросила я.

– Крышу меняем, барышня, – развел он руками. – Как барин сказал, так оно и есть.

## IX

Я обычно не обращала внимания на тех господ, которые приходили к нам в гости, когда мы жили в Штефанбурге. Ведь они приходили не к нам, а к папе. Наше замечательное семейство в зимние месяцы очень редко устраивало приемы. Наверно, потому, что семейство было кургузое – только мы с папой.

Мне казалось, что штефанбургский свет не простил папе развода. Дело не в том, что люди папиного круга были на маминой стороне, считали, что папа был неправ, несправедлив и все такое. Нет, наверное. Просто развод сам по себе считался чем-то неприличным. А если уж развод, то дети, как правило, оставались с матерью. Оскорбленная мать принимала гостей в своем салоне, а бывший муж с тех пор носа не казал в свете. Так, по крайней мере, было в тех случаях, когда разведенная женщина по своей фамилии принадлежала к высшей аристократии. Графиня фон Мерзебург – моя мама – по всем правилам была именно такова. Но, увы, только по правилам. На самом деле у мамы странным образом не было ни семьи, ни дома, куда она могла бы вернуться после развода со своим мужем-негодяем. Конечно, негодяем! Ведь только негодяй мог развестись с умницей, красавицей, аристократкой, ведущей свой род от Танкмара, сына Генриха Птицелова и Хаттебурги фон Мерзебург. Но с мамой все было как-то туманно и неясно. Честное слово, я не знала, кто были ее родители, то есть мои бабушка с дедушкой с маминой стороны, а также прадеды и прабабки. Где находилось их поместье – в нашей стране? В Германии? Или, может быть, во Франции? Ничего не понятно. Где, наконец, она жила здесь, в Штефанбурге?

Я мельком слышала странную фразу «она ведет скромную жизнь». Но ведь и мы вели скромную жизнь, по папиным словам. Мы не могли равняться с настоящими магнатами, с князьями и графами, у которых были дворцы в Штефанбурге, а усадьбы роскошные, как Версаль. Что папа имел в виду, когда говорил про мамину скромную жизнь? И вообще, как это графиня фон Мерзебург могла вдруг как сквозь землю провалиться, исчезнуть, растаять в тумане, *смешаться с толпой?*

Это казалось мне особенно обидным.

Честно говоря, я сильнее всего на свете боялась именно этого – смешаться с толпой. Боялась двойным страхом. То есть не только затеряться в большой плотной толпе, но – еще сильнее – превратиться в обыкновенную девушку с корзинкой или саквояжиком.

Вроде тех конторских барышень, которые по утрам шли на службу, цокая одинаковыми каблучками по плиткам Клостерштрассе и Кенигштрассе, выходя из трамваев, конно-железных повозок и из подземелий недавно открытого метрополитена, ручейками растекаясь по банкам и министерствам, исчезая в высоких дубовых дверях с латунными ручками и зеркальными стеклами. А еще раньше из метрополитена и трамваев выскакивали барышни попроще, хотя иногда одетые понаряднее первых – продавщицы, уборщицы, горничные в гостиницах. А совсем-совсем рано – этого я своими глазами не видела, это мне госпожа Антонеску рассказывала, – наверное, в половине шестого утра, когда я еще спала, когда мне снились наша аллея, наша лужайка, когда мне снилось, как я качаюсь на качелях и прыгаю вниз и Грета меня подхватывает двумя руками и кружит, так что у меня сердце занимается, – вот тогда на окраинах Штефанбурга на фабрики шли работницы, грубые, коротконогие, с большими, как лопаты, руками, держа под мышкой завернутый в полотенце завтрак – кусок хлеба с колбасой и яичко. У них были широкие лица, курносые носы, маленькие глаза, обветренные губы и жилистые шеи.

Я, может быть, в своей жизни видела только одну такую девушку в Штефанбурге, когда мы однажды ехали в гости за город к новым папиным друзьям. Дружбы, кстати говоря, потом не получилось. Это был единственный наш выезд туда.

Кучер перепутал дорогу, и мы, вместо того чтобы выехать на загородное шоссе, попали на какую-то кошмарную окраину, потому что кучер свернул куда-то не туда и пытался оттуда выбраться, привставал на козлах, держал то левее, то правее, но дорога делалась все хуже, все уже, улицы распадались на переулки, переулки на подворотни. Я смотрела из окна, и мне казалось, что мы попали в паутину или в страшный лабиринт. Домики были низкие и длинные, с множеством дверей. Вывесок на них никаких не было, и дело кончилось тем, что наша карета попала в какую-то вонючую канаву задним колесом. Мы ехали втроем – папа, я и госпожа Антонеску. Кучер попросил нас выйти и стал уговаривать коней поднатужиться и подтянуть. Карета была запряжена парой, но два крепких коня никак не могли выправить, вытащить ее из канавы. Кучер что-то сказал папе, папа достал из кармана кошелек, дал кучеру какую-то бумажку, и тот, озираясь, пошел по улицам. Очевидно, искать подмогу. Минут через пять он вернулся. Он вел за собой двух стариков, которые приговаривали «сейчас, сейчас». У одного из них была длинная жердь, и они как-то втроем смогли поддеть колесо и вытащить его из канавы. На спицу колеса намоталась какая-то отвратительная гнилая тряпка.

Все это время, покуда кучер ходил за подмогой, папа курил, делая вид, что поправляет сбрую лошадям, но на самом деле просто поглаживая разные ремешки и пряжки, а госпожа Антонеску, как обычно, читала маленькую французскую книжечку, которую тут же достала из своей сумочки, – госпожа Антонеску очень здорово умела стоять не двигаясь. Она как-то очень ловко стояла. Изящная и вместе с тем уверенная. Она так могла простоять час, два или три, и совершенно не казалось при этом, что она устает. Когда я была совсем маленькая, я иногда пробовала ноги госпожи Антонеску сквозь юбку. Однажды я ущипнула ее за икру, и госпожа Антонеску улыбнулась и спросила: «Стася, что такое?» Я ответила: «Я думала, что вы мраморная». Я сказала, как ребенок: «Мламолная». Госпожа Антонеску засмеялась еще громче и потом долго учила меня искусству вот так «мраморно» стоять – неустанно, элегантно, непринужденно и твердокаменно.

Но ах, я не об этом.

Кучер ушел. Папа отвернулся. Госпожа Антонеску уткнулась в книжку, а я смотрела на девушку, которая смотрела на меня.

Она вышла из-за домика, из-за низкого безобразного домика с немывтыми окошками и позеленевшей шиферной крышей, подошла к нам, осмотрела нашу косо стоящую – одно колесо в канаве – карету и всю нашу компанию: папу в визитке и лаковых туфлях, с дымящейся папирсой, госпожу Антонеску в длинном платье и шляпке с цветами и меня. Я была в полудлинном платье для загородного визита. На мне были белые чулочки, вишневые туфельки на низких квадратных каблучках, белая кофточка с плоеным передом, жакет – да, расстегнутый жакет в народном стиле с вышитыми гладью барашками и пастушками, – а на голове такая же «народная» шапочка – войлочная, с вышивкой и перышком сбоку; и ридикюль на ремешке.

Девушка была ненамного меня старше, а может быть – моя ровесница. Мне было тогда тринадцать, и ей, наверное, тоже около того. Она была одного со мной роста, но мне казалось, что в два раза тяжелее. И не потому, что толстая, а потому, что широкая, костистая, сильная. Широкое лицо, короткий широкий нос, сухие потрескавшиеся губы, жилистая шея, широкие ладони, грязные ногти и толстые кривые ноги в серых нитяных чулках. А на ногах что-то вроде обрезанных мужских сапог. Я заметила, что они ей сильно велики. Она стояла в трех метрах от меня и рассматривала меня в упор, подробно, сверху донизу и снизу доверху, как будто обшаривая глазами каждую петельку и каждую пуговку на моей одежде, каждую ресничку и каждую родинку на моем лице. Меня слегка испугало, что она не выказывала никакого смущения от встречи со знатными и богатыми господами. Она чувствовала себя хозяйкой, как будто бы хозяйкой большого, грязного и бедного дома, куда случайно забежала чужая маленькая породистая собачка.

Я покосилась на папу и мадам Антонеску и поняла, что да, верно – смущение выказывают скорее они. Мадам Антонеску не поднимала глаз от своей французской книжечки (кажется, это были стихи), а папа делал вид, что его главная забота – соскрести ногтем заусенец на лошадиной сбруе. Мне казалось, что они меня выставили навстречу этой неприветливой *хозяйке здешних мест*. Я посмотрела ей в глаза, попыталась улыбнуться. Она не улыбнулась мне в ответ и все смотрела на меня в упор.

Но меня не переглядишь. У нас в деревне я у всех выигрывала в гляделки.

Она смотрела на меня так, что у меня слегка помутилось в голове. Сильный взгляд был у нее. Я завела руки за спину и вцепилась ногтями левой руки в ладонь правой. Еще чуть-чуть, и я бы раскровенила себе руку, но тут эта девушка вдруг хмыкнула и стала рассматривать мои ботинки.

– Вот такая история, – сказала я громко. – Запутались, видите ли, заплутали.

– Ага, – сказала она.

– Ехали в Дамбель, – сказала я.

– Куда? – спросила она.

– Дамбель, – сказала я. – Дачное место недалеко.

– А? – спросила она.

– А вы не будете любезны нам сказать, как отсюда выехать?

– Куда? – спросила она.

– На Зоосадовскую улицу. Zoostrasse, – повторила я по-немецки.

Девушка пожала плечами.

– Как вообще отсюда выехать? – спросила я.

– А? – спросила она.

– Ну, например, в... в центр города?

Она пожала плечами.

– Или на набережную? – спросила я.

Она опять пожала плечами, продолжая подробно меня рассматривать – как неживую, как манекен в витрине. На ее лице, впрочем, не было особого интереса, не было приветливости, но и зла не было тоже. Я попыталась отыскать презрение, зависть, жадность, ненависть бедняка к богачу, разыскать то, что в газетах называли «классовым антагонизмом». Ничего этого не было. Или я не увидела. Даже равнодушия не было. Не было буквально ничего.

Она просто смотрела на меня, как, может быть, в зоопарке одно животное смотрит на другое, которое никогда ему в природе не встречалось и встретиться не могло. Как пингвин на павлина, например.

Потом пришли эти старики с жердью, вытащили нашу карету, а потом, размахивая руками, долго объясняли кучеру, как ему выехать из этой путаницы переулков на загородное шоссе. А эта девушка все стояла и смотрела, как мы садимся в карету, как кучер забирается на козлы, как мы потихоньку трогаемся. Потом она почесала себе ухо и пошла обратно в тот проулок, откуда вышла. Я это заметила, потому что смотрела в каретное окошко на нее.

Вот такими я представляла себе фабричных работниц, которые в половине шестого утра, по рассказам госпожи Антонеску, бегут на работу. Мне почему-то страшно было вспоминать эту девушку. Она мне снилась раза два или три после, летом, когда мы уже снова вернулись в имение. Она мне снилась так, как будто она не одна, как будто их много, и они смотрят на меня как на неживую, как будто я на самом деле становлюсь неживая. У меня от этого билось сердце. Я просыпалась вся мокрая от пота и будила госпожу Антонеску, чтобы она дала мне сухую ночную сорочку. Госпожа Антонеску передевала меня, хоть я бормотала «сама, сама». Но она говорила мне «подними ручки». Я, как маленькая, поднимала ручки. Она стягивала с меня промокшую сорочку, комкала ее и протирала ею мою спину и грудь, потом говорила «ну-ка снова подними ручки» и надевала на меня сухую сорочку, а потом шептала мне на ухо:

«Все хорошо, все хорошо, спи, засыпай», – и мне снова становилось не страшно. Я леглась и засыпала.

А совсем уже днем, вокруг полудня, на улицы выбегал четвертый отряд женщин. Первые три – работницы, продавщицы, конторские барышни, четвертый отряд – хозяйки, мещанки, бургерши, матери небогатых, но крепких семейств, жены делопроизводителей, машинистов, помощников инженеров и полицейских. Они выходили за покупками – взять что-нибудь к обеду, к возвращению главы семьи. Крепкие тетки в ладных, хотя грубоватых платьях в обтяжку, с корзинками в руках, а некоторые даже с новомодными кожаными торбами с большой бронзовой застежкой. Шли в свой ежедневный поход по магазинам и лавочкам. А по воскресеньям на большой крестьянский базар. Приятные, солидные, достойные, иногда даже вполне милостивые, чуть было не сказала красивые, дамочки разных возрастов, в том числе и вполне молодые, двадцати с небольшим. Но если среди них попадалась какая-нибудь совсем уже хорошенькая и модно одетая, в совсем новеньких туфлях и шляпке прямо как будто с витрины, то это была экономка из богатого дома. Обычно рядом с такой экономкой шагала жилистая кухарка или мужчина-повар, вроде нашего Влада. Или здоровяк-кучер, вроде нашего Игнатия.

Вот это все и была толпа. Толпа для меня была толпой женщин. Толпы мужчин я не видела никогда. Вернее, видела, конечно, потому что по центральным улицам точно так же ранним утром бежали сначала приказчики и официанты, а потом министерские и банковские служащие. И уж конечно на окраине, точно так же, как и работницы на фабрику, рабочие шли на завод. Но о мужчинах я почему-то не думала. Я совсем на них не обращала внимания.

Так что, когда папа уважительно говорил «народ», а госпожа Антонеску презрительно говорила «толпа» – я всегда представляла себе много-много женщин.

И я сильнее всего боялась смешаться с толпой. Поэтому, когда мы с госпожой Антонеску внезапно оказывались на улице в тот момент, когда из дверей метрополитена или из трамвая выплескивалась большая порция людей, я зажмуривалась и ждала, пока толпа, собственно не толпа, а группа (сколько там было человек – двадцать, сорок, пятьдесят?) – пока толпа рассеется. А иногда хватала госпожу Антонеску за руку и тянула ее в сторону, уступая толпе дорогу. И мне больно было подумать и невозможно себе представить, что моя мама смешалась с толпой, что она вот так, как эти конторские барышни или домохозяйки-мещанки, идет по улицам, торопится по своим пошлым повседневным делам. Вот, наверное, почему я зажмуривалась в толпе. Потому что я боялась вдруг увидеть там свою маму.

Но театр – это не толпа.

Хотя там была, по папиным словам, толпа народу. Но какой народ! Слов не хватит описать наряды дам и господ, которые заполняли сначала фойе, а потом партер и ложи штефанбургской оперы. Да и не надо слов. Кто видел – тот видел, а кто не видел – рекомендую полистать журналы января 1912 года, как раз тогда штефанбургской опере исполнилось сто пятьдесят лет, и все наши журналы были полны фотографиями спектаклей, а также зрительного зала и фойе со всей блестящей штефанбургской публикой. Поинтересуйтесь. Во втором номере «Театрального обозревателя» есть отличная фотография на целый разворот: страницы 16–17-я. Там в левой стороне третья ложа бенуара – это наша ложа, – и там вы можете увидеть меня, моего папу и госпожу Антонеску, которую мы взяли с собой на юбилейный спектакль. А на следующей странице, на 18-й, есть тоже неплохая фотография под названием «Сценка в фойе». Вот там я стою около киоска с мороженым, и официант протягивает мне вазочку с тремя шариками и воткнутыми в них меренгами, отчего вазочка похожа на букет из кактусов, а я в черном шелковом платье, в узенькой меховой накидке и едва виднеющихся лаковых туфельках. Я беру одной рукой вазочку, а вторую руку протягиваю официанту, и он вру-

чает мне сияющую во вспышке магния мельхиоровую ложечку. Я такая хорошенькая, просто куколка. Просто игрушечка. Даже противно, потому что настоящая аристократка не может быть слишком хорошенькой. Это удел мещаночек или даже продажных девок.

Но уж как получилось.

Поэтому я не буду описывать блеск штефанбургской оперы.

Я хотела сказать, что гостей к нам приходило мало. Считанные разы мы накрывали в столовой ужин на большую компанию.

Но к папе довольно часто приходили какие-то господа. Я не уверена, что у него в Штефанбурге было много приятелей. Впрочем, приятелей, не говоря уже о настоящих друзьях, у него почти не было и в имении. Кроме вот этого князя, у которого был сын – жирный и скучный мальчик. А сам князь, кстати говоря, был хорош. Если бы мне было лет сорок, как ему, я бы, может быть, даже в него влюбилась. Но он-то вряд ли бы ответно влюбился в сорокалетнюю барышню. А в двенадцать или даже в четырнадцать лет влюбляться в сорокалетнего дядю – это вообще какая-то глупость. Хотя некоторые мои знакомые девицы влюблялись, кто в оперного тенора, кто в знакомого банкира, а некоторые даже в кронпринца, которому было вовсе под пятьдесят. Но у него, несмотря на молодцеватую выправку и красивые ордена – я видела его в театре, – были ужасно скучные усы, как у моржа на картинке. Целоваться с моржом? Это не для меня. Даже если меня потом назначат императрицей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.